

Мадина Хакуашева

Дорога домой

Повесть



Хакуашева Мадина Андреевна родилась в Нальчике. В 1981 г. окончила медицинский ф-т КБГУ, в 1985 г. — клиническую ординатуру по кардиологии в Москве. В 1992 г. экстерном окончила филфак КБГУ. В настоящее время — докторант кафедры русской литературы КБГУ. Публиковалась в журнале “Литературная Кабардино-Балкария” под псевдонимом Асхад Гуазов.

Светлой памяти семьи Али Шогенцукова посвящаю

Бабушка

Двухкомнатная квартира бабушки была старого образца: с большими просторными комнатами, высокими потолками, во времена моего детства — без санузла и газовой плиты, с керогазом. Теперь, после внезапной смерти мамы, квартира стояла пустая, ею лишь время от времени пользовались родственники, наезжающие в город. После безликой малогабаритной квартирki родителей, где я жила в детстве, эта казалась мне особенной, в первую очередь из-за атмосферы, царившей там. Она будила мое воображение, а строгая, почти аскетическая обстановка определяла его направленность. Надежным и добротным было все — от волнистой поверхности старого большого шкафа орехового дерева до широких деревянных кроватей с фигурными спинками, простой и удобной мягкой мебели, обтянутой светло-серыми чехлами, которые стирались и утюжились раз в две недели, как и постельное белье. Свежевыкрашенные дощатые полы в зале были выстланы темно-бордовыми дорожками с зеленой каймой по краям. Пол, всегда прохладный и чистый, мылся через день, причем с пяти лет это было моей высокой обязанностью, и если мама это занятие просто запрещала, очевидно, предвидя последствия моей уборки, то бабушка поощряла, и я, польщенная доверием, ползала с мокрой тряпкой, обдирая колени, но вымывала все до конца. Правда, бабушка их всегда перемывала в мое отсутствие, но об этом мне стало известно много позже. В квартире витал особый запах свежести со слабой примесью нафталина, а белоснежные занавеси на приоткрытых окнах пузырились утренним и вечерним ветром. В кухне стоял деревянный буфет, в котором я знала любую мелочь, потому что у каждой было свое лицо. У меня были особенно любимые вещи: изящный розовый многогранный графин с притирающейся крышкой в форме бутона, — он был прозрачным, но грани странно дробили и преломляли окружающие предметы и, глядя сквозь него, я оказывалась в другом волшебном мире; такая же вазочка на высокой ножке, стеклянная пузатая сахарница с серебряным ободком и серебряной инкрустированной крышкой. Но самой любимой была маленькая фарфоровая чашечка, светло-салатная изнутри с четырьмя мелкими малиновыми цветами. Узкое дно ее — выпуклое мутное окошко, сквозь которое угадывался невнятный образ. “Налей воду и все станет видно”, — сказала бабушка, показав мне чашечку впервые. “Что?” — не выдержала я. “Налей и увидишь”. Я наполнила чашечку водой, и в круглом окошке появилась прекрасная женщина в короне. “Кто это?” — воскликнула я, еле сдерживая восторг. “Это ты, когда станешь взрослой”. “Но это же принцесса!” — “Ты и будешь принцессой”, —

серьезно сказала бабушка. В комнате на трюмо стояла статуэтка танцующей пары. Я подолгу рассматривала фигурки, и вскоре они начинали парить в воздухе; женщиной была я.

Пять раз в день бабушка делала намаз. Я не могла удержаться и запускала обе руки в податливый нежный ворс белой овечьей шкуры, он шелковисто скользил между пальцами и слегка охлаждал их. Бабушка опускалась на колени, беззвучно шевелила губами и кланялась, касаясь лбом ворса. После молитвы она еще долго стояла на коленях, перебирая коричневые в крапинку прохладные четки. Я старалась в это время встать или забежать на шкуру — меня забавляло, что бабушка, занятая молитвой, не имела права отвлечься на замечание: она только выразительно посматривала на меня и хмурила брови, но в глазах всегда дрожал веселый смех. Втайне от других, в первую очередь от мамы, она учила меня молитвам. “Шайтан часто заходит в дом. Прочти кульхоля или аяталькурси (наиболее известные фрагменты из Корана) десять раз, и тогда вся нечисть сгинет”. Она рассказывала о Джабраиле, Мусе, Мачраиле, Хазраиле, об Исрафиле (мусульманские пророки), который может входить к мертвым. “Не думай, что ты когда-то бываешь невидима. У каждого человека два малиич (ангела), сидящих на плечах. Когда человек уходит, один идет за ним, а другой остается дома. Во время молитвы ангел доносит ее до божественного занавеса, он раздвигается, и ангел доводит молитву до Всевышнего, и каждый делами и мыслями своими предстает перед Богом. На того, кто искренне верит во Всевышнего и его милость, он посылает ахрат (благословение) — и последний грешник спасается”. В ауле, например, рядом с бабушкиным домом жил человек, который однажды рубил дерево и встретил шайтана. С тех пор он перестал говорить и молчал тридцать лет. Этот человек был нечист на руку, у кого-то даже своровал всю картошку. “Хоть мешки верни”, — сказали ему. Но однажды на него снизошел ахрат, и он заговорил, и сознался каждому, перед кем согрешил.

После смерти, продолжала бабушка, Бог складывает дела умершего на весы, чтобы человек попал в рай, и его ангелы на чашу добра кладут даже палку, которую умерший дал как псапа (благо, добро, подать для очищения от грехов), чтобы эта чаша перетянула другую, на которой все зло и грехи, совершенные в течение жизни. Добрые дела опережают смерть. В одном ауле хоронили женщину, которая только и сделала хорошего, что сшила пару детских чувячек. Так те чувячки танцевали впереди гроба, сопровождая покойную в последний путь.

Бабушка считала, что каждый человек к чему-то призван, и это написано у него на лбу. Иной раз это так хорошо видно, что, тщательно приглядевшись, увидит каждый. У других видно в святой день, пятницу. А если не в пятницу, то проявляется порой, когда человеку очень трудно.

Иногда при рождении ребенка Бог оказывается рядом и касается его своей рукой: дотронется до лба — и тот станет мудрым, до глаз — зорким, до сердца — добрым, до руки — талантливым мастером, до языка — великим джегуако (народный певец и стихотворец). А порой он невидимо вдыхает в младенца свой дух, и тот вырастает избранником, пророком, который связывает людей с Богом. Но Всевышний оставляет на лбу не только свой знак, но и метит недостойных, о которых бабушка говорила: “Беги от недостойных, как от чумы. Ты их никогда не поднимешь, но они тебя уронят”.

— Недостойные — это плохие?

— Нет, плохих не так много, и их сразу видно. А недостойные — это те, что делают тебя хуже, чем ты есть.

— Как же их распознать?

— Это тоже на лбу написано. Нужно только внимательно присмотреться.

— А если все-таки не увидишь?

— Тогда наблюдай за собой. Как изменишься так, что себя перестанешь узнавать, и скажешь однажды: “Как случилось, что я так опустилась?” — вот тогда и узнаешь. Но как бы не было поздно.

— А как выглядят недостойные?

— Чаще всего у них старое сердце, старые глаза и бессильный смех.

— Это — старики?

— Нет! Я видела много юных стариков и старых юнцов. Я видела, как в сто двадцать лет умирали молодыми, а в тридцать умирали от старости.

— А почему ты не знаешь русский язык?

— Не научили.

К бабушке приходили родственники, соседи, друзья ее детей, друзья всей семьи, друзья родственников, знакомые и малознакомые. У нас постоянно кто-то жил: то сын племянницы, то дочь двоюродной сестры, и среди этого калейдоскопа лиц и характеров координирующим центром и началом была бабушка, высокая, статная, с гордой посадкой головы, со слегка проступающими высокими скулами под тонкой кожей. Серые ясные глаза являли собой таинственное сочетание нежности и мужества. Лицо, похожее на окно: как за прозрачным стеклом — обозреваемый мир, так за хрупкой женственностью проступала сила.

При всей скромности и простоте быта, бабушка умудрялась “из ничего сделать нечто” (по выражению папы), любого гостя и домочадца досыта и вкусно накормить. Во мне до сих пор сохранились ощущение и аромат каждого блюда. Я любила наблюдать за ее руками, когда она готовила, и уверенными неспешными движениями ежедневно месила тесто на лакумы (сдобные лепешки). Они получались золотистые, прямоугольные и большие, я разносила их соседям по четвергам (верующие адыги разносят лакумы перед святым днем, пятницей, за покой умерших). Мои имели форму ленточек и колечек, и съедались мною же. Бабушка не любила много говорить, а уж жаловаться вообще не умела, но меня удивляло терпение, с которым она каждого выслушивала, не перебивая. После нее я не встречала людей, которые могли бы так молчать: когда кто-то говорил, ее молчание напоминало свежий ветер, который заполняет дом через распахнутые окна, — поэтому любой человек выговаривался до конца. Когда я ее изводила (например, в течение получаса пряталась под столом, и она, не находя, шла искать меня во двор), последующее молчание напоминало огромную волну, что отхлынула от берега, чтобы накрыть с головой. Порой она смотрела на меня с молчаливой улыбкой, и глаза ее расцветали, как весенние первоцветы.

Предметом моей тайной гордости являлась моя переводческая миссия. При наших совместных ежедневных походах на базар или магазин я, невидимая за прилавком, бойко переводила требуемое русскоговорящим продавщицам.

У бабушки была тайная страсть: она очень любила народную музыку и всегда плакала, слушая “Истамбыляко” (адыгская народная песня о насильственном выселении адыгов в Турцию). Во время поездок в Баксан мы не пропускали ни одного выступления народных певцов, и во мне отложились смутные воспоминания: героические адыгские песни в исполнении пяти или шести мужчин в национальных одеждах. Это был баксанский Дом культуры или клуб с пустой сценой, битком набитый людьми. Она частенько водила меня в соседний дом, где жила ее приятельница, которая пела и играла на пшинэ — адыгской гармонии. Сама же бабушка никогда не пела и скрывала свое увлечение. По-моему, она считала это своей слабостью.

Только иногда, в самых крайних случаях бабушка жаловалась на меня маме, та вспыхивала и медленно накалялась в течение короткого и явно облегченного пересказа о моих проделках, по завершении которого всегда пыталась меня отшлепать, но бабушка заслоняла меня собой, теперь уже портя отношения с мамой.

Двор

В любой благоприятный момент я выбегала во двор — широкий, округлый, ограниченный со стороны дома старыми высокими тополями, а в глубине — деревянным кордоном сараев. И двор, и дом в моем сознании были продолжением бабушкиной квартиры и входили в единое общее понятие бабушкиного дома. Он был светлый, в три этажа, со сквозными подъездами — самый уютный остров в теплых прозрачных водах моего детства. Так же легко, как попасть со двора на улицу, можно было переходить из одной квартиры в другую без ущерба подмочить незапятнанную пока репутацию воспитанной девочки, — двери никогда не запирались до ночи. Я могла не успеть подметить все детали, но мигом, жадно вбирала в себя любую атмосферу и запах старого дома, впитывала кожей, и они, как штамп, отпечатывались в памяти навсегда, так же, впрочем, как и особенности облика каждого из его обитателей. Через незапертые двери квартир с легкостью вылетали и витали в воздухе текущие события каждой семьи: что ребенок у Унажковых заболел и попал в больницу, а в 17-й снова скандалили, а муж даже бил посуду, что у Хамида скоро будет новая свадьба, а его мать, Саса, снова недовольна будущей снохой; что жиличка из 28-й квартиры, что живет с хозяевами, таскает еду из ресторана, в котором работает официанткой, и прячет ее внутри дивана, на котором спит; что будет большая выставка картин бородатого художника Саши из 11-й; что в самую шикарную квартиру на втором этаже, где круглый год едят заморские фрукты, снова наведывался милиционер; что доберман Сметневых нагадил перед дверью Молокянов и дядя Тариэл поднял страшный шум, так как это уже не первый раз; что у Гузеевых прорвало трубы и затопило потолок Чехрадзе, но дело кончилось миром; что тетя Дора очередной раз требует развода у своего блудливого мужа, а дядя Гена из 70-й умирает от рака.

При всей своей разношерстности, обитатели нашего дома вписывались в него, как картины в свои рамы. Но двумя этажами выше жил сосед, который выпадал из рам в полном и переносном смысле. Он был слишком велик для небольших квартирок, домов и улочек нашего города, слишком силен для мелкой суматошной городской круговерти, слишком величествен для однообразных будней. Раньше он играл на флейте в каком-то оркестре. Кроме того, он пел. Бабушка говорила, что, когда это случалось, дети переставали плакать, а женщины, напротив, начинали. На провода и деревья перед его окном слетались птицы. Весь дом замирал и превращался в одно благоговейное ухо. Однако я уже не застала эпоху, когда пел Аслан. Вскоре он пошел работать, как все, потому что артистам мало платят, и вскоре пропил свою флейту. Но мне казалось, что его длинные пальцы еще ждут потерянную свирель, а еще свежие губы — забытую песню.

Его кожа будто тронута золотистым несмываемым загаром нездешнего солнца навсегда утраченной древней родины. Античная голова с чеканным профилем победителя, в коротких завитках темных волос, блестящих, как шлем, казалась диким цветком, выброшенным из недр величественного торса. Скоро чудная фигура его стала обыденным явлением, и неуязвимая красота будто устала от самой себя. Он запил. Вечерами приходил домой, еле волоча ноги, с красным лицом, на котором постепенно проявились тонкие багровые жилки. Дома он тихо плакал, и соседи поначалу принимали его плач за поскуливание одинокой собаки, запертой дома хозяевами. Отоспавшись, он разительно менялся и становился прежним, но вечером случалась та же метаморфоза, и Аслан снова плакал.

“Всех львов давно отстреляли, — бесцветным голосом заметил однажды наш круглый сосед по площадке, сразу после очередного приступа плача, — откуда этот взялся?” И пока я в красках представляла сцену отстрела и собиралась что-то уточнить, он уже удалился, шаркая стоптанными шлепанцами. Впрочем, в доме постепенно привыкли к Асланову плачу, как к привычному шуму, например, звуку воды в трубах.

Однажды, возвращаясь с очередной попойки, он подсел ко мне на лавочку. Я перестала болтать ногами. “Привет, малышка!” Я покосилась на наши окна: бабушке такое соседство совсем бы не понравилось. Между тем Аслан мне что-то говорил, и я стала жадно слушать. Иногда смысл сказанного от меня ускользал, но я запомнила почти каждое слово. Он говорил, что по чьей-то злой шутке заперт в тесный бутафорский ящик неким невидимым сумасшедшим, который задал такой же сумасшедший ритм его жизни: утренний подъем с похмелья, спешный завтрак, 8-часовая служба, попойка с друзьями, полупьяная супружеская любовь в скрипучей кровати, похожая на заученный ритуал, жалкие гроши для нового воспроизводства этого бессмысленного цикла, будто дьявольская рука крутит и крутит одну и ту же глупую пошлую песенку вечной шарманки. Рождение детей, похожее на краткое пробуждение, с тем чтобы теперь их ввести в этот заколдованный круг, в котором некоторые идиоты пытаются найти хоть какой-то смысл, но не находят ничего, кроме одиночества и усталости. Праздники, похожие на недолгие обмороки, и снова будни, как дурной сон, и сон, один и тот же: я вырываюсь на простор, на землю, по которой томится душа и болит тело, где струятся ветры и стекаются реки, и плещутся тихие волны... Один глубокий вдох, как глоток, во всю ширь необъятных легких и... — пробуждение. “Малышка, ты знаешь, я понял одно, — сказал он после паузы в своих размышлениях и как-то странно взглянул на меня, — нам только кажется, что мы все вместе. Нет, каждый из нас существует в своем мире, и миры не сообщаются, — он неожиданно рассмеялся, — они даже не соприкасаются. Каждый из нас заперт в своем пространстве... Да, всех нас кто-то запер, а ключи потерял”.

Как-то вечером он выбросился с балкона третьего этажа. Жильцов, привыкших к размеренному, привычному образу жизни, событие это повергло в шок. Горемыка, к счастью, отделался переломом ключицы, ссадинами и синяками. Вскоре попытка повторилась, но и на этот раз падение оказалось мягким. Очень скоро его полеты стали таким же привычным явлением, как его красота, попойки и плач. Хуже всех приходилось тете Нине со второго этажа, так как ее балкон располагался сразу под аслановским, и при очередном полете каждый раз слетали вниз и ее цветочные горшки. “Вот паразит! — кричала она, — снова мои горшки разбил!” Аслан валялся в клумбе, усыпанный комьями земли, цветущими бегониями и битыми черепками.. “А-а-а, — выл он, — ногу покалечил!”

“Этот дом — заколдованный, он не отпускает его”, — сказала однажды жена Аслана, серьезная, деловитая женщина, уставшая воевать с упорным мужниным нежеланием жить. Каждое падение ее глубоко оскорбляло, будто он всякий раз отвергал не жизнь, а ее

самое. Однажды ночью он не явился домой. А наутро нашли его повесившимся на водосточной трубе соседнего дома.

Лева

С первых погожих весенних дней начинались наши походы, которые возглавлял старший из двух маминых братьев, Лева. Я их с нетерпением ждала всю долгую зиму.

Сначала мы гуськом пересекали прохладный сосновый бор с прозрачными пятнами солнечного света в разрывах смыкающихся крон; ноги мягко пружинили по узкой тропке, утрамбованной опавшей бурой хвоей, спускались к реке, и я пыталась поспеть за длинными сильными ногами Левы, но путалась в коротком дерне и отставала. Река и гряда холмов по левому берегу, сбросив с себя весенние туманы, расчистились; черная, еще насыщенная парами земля вздохнула и жадно дышала. Окрепший ветер налетал порывами, шелестел в тополях, пробежал по листве, — она трепетала, поворачиваясь то ярко-зеленой, то белесой стороной, и деревья мерцали, переливались, менялись, как гигантские, взвившиеся в небо хамелеоны. Иногда мы натыкались на благодушные маевочные компании, которые нас звали к себе. На траве были расстелены покрывала, между ними — клеенки, а в их центре — куски отварного мяса. Блестящие темно-коричневые кусочки баранины, нанизанные на шампуры, размещались рядом, кроваво мерцали свежие помидоры, ярко розовел редис, тоненькой прозрачной струйкой змеилось содержимое опрокинутого стакана, стекало в траву. Лева любезно отбивал пьяный натиск подгулявших компаний, и мы шли дальше. По пути следования я наблюдала благородные семейства с солидными отцами, бдительными матерями, следившими за худощавыми, юркими мальчишками и девочками — подростками, елейными, полными неизъяснимой, неосознавшей себя прелести, — юные наяды, только вышедшие из распавшихся влажных створок раковин сонной колыбели детства.

“Привал!” — командовал Лева, и мы падали в траву. Его длинные загнутые ресницы касались излома густых дуг темных сросшихся бровей, а серо-зеленые глаза (точно как у бабушки) при ярком солнечном свете становились совсем прозрачными. В косых лучах утреннего солнца река сверкала мириадами цветных бликов, отражаясь на его лице. Вскоре солнце подходило к зениту — и все становилось ослепительно белым, сверкающим: добела раскаленная галька под ногами, белая река, с глухим рокотом несущаяся вниз по руслу, теряющие утреннюю прозрачность и приобретающие ртутный оттенок, разорванные белые облака, неподвижно повисшие на белесом горизонте, напоминали застывший клубами дым лесного пожара, полуденное небо, слепящий диск солнца, белая полурасстегнутая рубашка, обнажавшая смуглую грудь, поросшую темными волосками.

Лева спросил моего брата-молчуна: “Ты кем хочешь быть, когда вырастешь?”

— Космонавтом, — ответил мой брат после некоторой паузы. — А ты?

У Левы смеялись глаза, но губы были серьезны: “Я хочу быть всем”.

— Это как — всем?

— То и значит, — всем.

— И камнем?

— И камнем.

— И деревом?

— И деревом.

— И даже червяком?

— И червяком тоже. Вот стихотворение одного американца.

Один из старых чикагских поэтов,
Один из сутулых чикагских поэтов,
Имея лишь разум, дарованный богом
И не имея ни единого цента,
Написал своим единственным карандашом:
“Я верю в судьбу человека,
Я верю больше, чем могу доказать,
В необходимость иллюзий,
В важность больших ожиданий,
В важность больших открытий.
Я хотел бы быть червем — есмь червь,
И астронавтом — есмь астронавт”.

Много позже я наткнулась на это стихотворение в маленьком сборнике Карла Сэндберга. Но тогда, в детстве, мы ничего не поняли. Его тоска и страсть мне стали внезапно понятны только в четырнадцать лет, когда я сидела за столом и писала о весеннем дожде, который только прошел. Это было не просто сильное впечатление о дожде, — я почувствовала, что впервые прорвалась за какую-то невидимую грань и сама стала дождем. Я помню свою мысль тогда, отчетливую, как зримый образ: “Я существую затем, чтобы стать всем”. Вся моя последующая жизнь невольно протекала под этим невидимым знаком.

Лева переносил нас на руках через реку, упруго ступая по камням, и мы оказывались на другом берегу, где начиналась Кизиловка. Внизу было полно диких плодовых деревьев. Позже, осенью, мы устраивали настоящие облавы на дикие яблони и груши, уплетая на ходу их мелкие, вяжущие, кисло-сладкие плоды. Янтарные и крепкие я отдавала брату, а себе оставляла мягкие, палевые, цвета увядшей листвы. Таким же перезревшим я любила мушмулу, содержимое которой можно было выдавить прямо себе в рот из лопнувшей при слабом нажатии мягкой коричневой корочки. Яблоки-дички срывались только твердые, наливные. Мама ругалась слевой, запрещала есть не только невымытые, но просто дикие плоды: “От них может быть понос. И даже дизентерия. Или запор”. Но с нами ничего

такого не происходило, несмотря на то, что дичка оказывалась съеденной каждый раз до мытья. Поздней осенью, после первых заморозков, мы обрывали черно-сизые ягоды терна, к тому времени сахаристые и мягкие плоды кислого барбариса и такого же алого, более крупного, — кизила, в честь которого и были названы холмы. Желто-зеленая облепиха с начала лета забирала летний жар и только к глубокой осени наливалась янтарным солнечным светом. Мы часами паслись в непроходимых зарослях ежевики и дикой малины, немилосердно обдирая голые руки и ноги, окрашивая пальцы и рты в предательски опознаваемые цвета, и набивали карманы в ласковых кустах лещины. Дальше, к вершине холма, деревья редели и почти пропадали, кроме какой-нибудь дикой черешни, случайно затерявшейся среди кленов, дубов и осин, или вишни, с мелкими, темно-синими, почти черными плодами, да кустами боярышника или жимолости, усеянной красными, реже — желтыми одинокими шариками.

Однажды Лева обратил наше внимание на растение, которое проросло в кронах некоторых деревьев, — сначала мы приняли его за птичьи гнезда. “Это омела, — сказал Лева, — странный паразит, не причиняя особого вреда своему хозяину, он живет припеваючи: забирается на самый верх и питается соком своего дерева и солнечной энергией, которую отвоєвывают в честной борьбе другие растения”. С тех пор я стала наблюдать за омелой. Среди осенней желтизны листья ее изумрудно зеленели, а зимой только бледнели и редели, выделяясь в вышине голого остова густым зеленоватым шаром, или неожиданно проглядывали сквозь белый покров зелеными веточками. Факт ее безусловного процветания не сочетался с моим напряженным нравственным чувством. Я только смирилась с этим чистым символом неистребимого приспособленчества, но не признала его.

С приходом лета, когда кроны деревьев плотно смыкались, от весенней пестроты не оставалось и следа, молодая трава, примятая нашими ногами, еще гибко пружинила и тотчас выпрямлялась, и внезапно на ярко-зеленом фоне вспыхивала кроваво-красная герань. Начинался сезон мелкой душистой земляники и костяники.

Мы забирались на вершину холма, который казался очень крутым, но в одном месте спуск был гладкий, будто по нему прошелся большой каток. Ветер трепал темные короткие волосы Левы, он глубоко вбирал в себя воздух, и обводил нас взглядом великого полководца, поднимал высоко руки, широко их расставляя, и срывался вниз на чудовищной скорости: “Лечу-у-у!” Он планировал на больших сильных руках, выписывая замысловатые виражи. Его рубашка, наполняясь воздухом, дыбилась белым парусом, светлые полотняные брюки с шумом бились о сухопарые мускулистые ноги, они ускоряли темп, так что очень скоро его высокая фигура делалась крохотной, он тормозил у подножия и изо всех сил махал нам. Я закрывала глаза, чтобы не видеть невыносимой зеленой крутизны, на миг обмирала и с остановившимся сердцем бросалась вниз. В лицо ударял сильный порыв ветра, и, задохнувшись, я раскрывала рот в восторженном страшном крике, не поспевая за сумасшедшими ногами. Рядом со мной орал мой брат, опережая меня, и резко тормозил у подножия. Я попадала прямо в крепкие надежные объятия Левы, и он, закружив меня напоследок, ставил на землю. Потом мы снова карабкались на холм (кто быстрее), пыхтя и обливаясь потом, но без намека на нытье, и снова сбегали вниз, и так до бесконечности, до тех пор, пока нас двоих Лева не затащит на холм, держа за руки, и мы последний раз обрушивались на окрестности наш истошный вопль.

“Если вы будете часто разгоняться и достигнете высокой скорости, вы однажды взлетите”, — сказал нам как-то Лева, заговорщически поглядывая на каждого. Мой брат недоверчиво хмыкнул. Я промолчала.

Иногда он брал меня с собой на рынок. Обыденность этой скучной фразы противоположна тому неповторимому ощущению праздничного подъема, который был связан с этой вылазкой. Если свое обычное вынужденное присутствие в этой цитадели торговли я попросту мужественно терпела, изнывая от скуки, и волочилась нелепым хвостиком за мамой или бабушкой, боясь затеряться в толпе, то с Лево́й мой поход на тот же рынок напоминал открытие нового экзотического острова. С ним я чувствовала себя полноправным членом веселой команды путешественников. Лева приходил сюда, когда на него нападало кулинарное настроение, и он собирался готовить шашлык, плов, азу или что-то в этом роде, — необыкновенно вкусное, с невероятным количеством овощей в самом неожиданном сочетании, словом, — что-то шикарное (эти блюда, правда, не ела бабушка, так как их не знала, и мама — для нее они были слишком остры). Словом, Лева никому не доверял заготовки продуктов.

Не торгуясь, мы покупали молодой картофель и шли к овощному ряду. Левик сдавливал двумя пальцами влажные, бело-розовые головки редиски с тонкими мышинными хвостиками, связанные в пышные пучки, весело бросал в широкую сумку; туда же летели соблазнительные свежие огурчики, увенчанные у верхушек желтыми сухими цветками. Мы проходили мимо тугих бело-зеленых кочанов капусты и другой, цветной, и мой взгляд замедлял скольжение по мраморной трогательной чистоте ее линий; верхняя часть нежных соцветий напоминала морскую губку, белоснежные коралловые рифы. Далее взору открывались роскошные помидоры, с художественной небрежностью уложенные на весы, Лева громко спрашивал, чтобы слышала торгующая тетка: “Как ты думаешь, парниковые нам нужны?”. Я говорила “не нужны”, и мы двигались дальше, в поисках настоящих, пока не останавливались возле мясистых, розовых, наваленных бесформенной грудой. Впереди красовалась табличка, на которой крупными кривыми буквами было старательно выведено: “ЛУЧШИИ ГРУЗИНСКИЙ ПАМИДОРИ”. Короткая, но проникновенная беседа с продавцом содержала лаконичную информацию о том, что Гиви родом из-под Тбилиси, и когда Лева неосторожно обмолвился о том, что частенько там бывает и даже собирается защищать диссертацию, кончилось тем, что он был объявлен братом и немедленно заключен в крепкие широкие объятия. “Ты мне ничего не должен”, — категорично заявил Гиви, когда Лева протянул деньги; они какое-то время пререкались, пока Гиви не покраснел. Тогда Лева достал ручку и блокнот, и они обменялись адресами. Мы оставляли позади себя ряды с малосольными и солеными огурцами, помидорами и капустой, горьким перцем, капустой провансаль, усыпанной алыми ягодами калины, сморщенным, будто лакированным черносливом и ломтиками яблочек, горы фаршированных баклажанов и болгарского перца, — над прилавками поднимался и парил восхитительный, дразнящий аромат, благодаря которому невольно замедлялся шаг и разгорался взгляд. Где-то сбоку торговали съедобными каштанами, — они были более мелкими, той же совершенной, но более плоской формы, чем конские, — я собирала их осенью, когда они выпадали из своих гнезд и с глухим стуком катились по земле. Я подолгу любовалась таинственным мерцанием, гладила прохладный, шоколадный глянец, созданный невидимым мастером. У меня дома собиралась огромная коллекция, пока мама или бабушка не выкидывали ее в мое отсутствие. Мимо проплывали красные остроконечные горки блестящих ягод клубники, примешивая свой дурманящий аромат к невероятной мешанине других запахов; крупная янтарная и темно-бордовая черешня с перепутанными черенками томилась в эмалированных ведрах или была навалена на длинные прилавки. Рдели острова пурпурной малины, красной и черной смородины. Стоило Ле́ве обратиться к продавцу, в атмосфере что-то таинственным образом преображалось, цвело улыбками, пожилые женщины обращались к нему “сынок”, ко мне — “деточка”, а молодые заигрывали и называли “красавчиком”. Они не обижались, когда Левик, перекинувшись с ними парой игривых фраз, отходил без покупки, часто окликали меня, пригоршнями сыпали в мою детскую сумку ягоды и бросали отборные

фрукты. С особым чувством страстного гурмана Лева отбирал зелень, потрясая пышными пучками, как колокольчиками, корешками вниз: те, что не распадались по краям, а упруго пружинили, сохраняя форму, и источали самый сильный аромат, удостоивались его внимания. Мы отправляли в нашу бездонную сумку изумрудные листья кресс-салата, с терпким вкусом горчицы, и пучки петрушки, не сочетавшие собственное название с изысканным запахом, и нежные букетики кинзы (мой любимый аромат), а сиренево-зеленый экзотический реган довершал дело. Вскоре к ним присоединялись молодой лук и чеснок: их белые головки сияли матовой жемчужной свежестью, а наверху превращались в налитые соком зеленые воинственные перья, напоминающие хвост петуха. Напоследок мы заходили в крытый длинный павильон, где торговали мясом. Нанизанные на толстые металлические крюки, по обоим нескончаемым рядам тянулись вереницы сырых кусков говяжьего и бараньего мяса с приторным железистым запахом — розового, красного и вишневого цветов, всех сортов и объемов, в белых прожилках жира и белесых сухожилиях, знаменуя собой примитивную прямолинейную образность самого вульгарного крыла натурализма. Деловитых хозяек зычно зазывали продавцы, те приценивались, торговались, требовали перевесить, ругались, отходили или, сойдясь в цене, молча платили. Лева шутил с продавцами, особенно продавщицами, весело покупал увесистый кусок, и я, наконец, не без сожаления следовала за ним по направлению дома. В моей сумке, кроме прочих многочисленных гастрономических презентов, лежали обязательные, которые каждый раз с неистощимым усердием отбирались Левой: сахаристые продолговатые финики и сухие бордовые гранаты, манящие предвкушением своего восхитительного содержимого: сотни подогнанных друг к другу прозрачных алых зерен, налитых и призывно мерцающих на свету, с узкой белой косточкой, — они дремотно ожидали своего часа в отсеках тонкой горькой пленки. Я предлагала помочь нести продукты, и Лева торжественно поручал мне зелень. По пути я озиралась по сторонам, стараясь ничего не пропустить из того, что происходило вокруг, а небо в аллеях сквера напоминало синий лист бумаги, исчерченный стремительными линиями белых самолетных трасс, медленно тающих, как мираж.

Позже, уже на даче, Лева разводил костер, мешал настоявшийся шашлык крупными, немного неловкими, самыми мужскими на свете руками, — в воздухе разливался дразнящий пряный аромат, и я с начала до конца наблюдала за священнодействием по изготовлению классического блюда, до самой кульминации — торжественной раздачи дымящихся шампуров, унизанных кольцами лука и посыпанных свежей зеленью. Дача располагалась в одном из самых живописных мест Долинска — пологих холмах, возле телевизки. В течение дня, ободрав всю малину, мы с братом носились по дачным дорожкам, обливаясь водой из бутылок, и разглядывали сквозь проемы оград чужие сады, пока нас не облаивала какая-нибудь свирепая псина, и брат уносил ноги, молча терпя мои отнюдь не пресные насмешки. В сумерках я забиралась в отдаленный уголок сада и смотрела на огни телевизки, легкий, прозрачный остов которой терялся в потемневшем небе.

У Левы было множество друзей, с которыми он совершал восхождения на вершины, даже на Эльбрус, болел на футбольных матчах, ходил на речку и без повода устраивал шумные застолья, стреляя червонцы то у Маги, то у папы, влезал в долги, которые ему охотно прощали, если до этого он сам не забывал о них. Его друзья почитали за честь таскать меня на своих плечах. Я носила гордое звание “племянницы Левки”, — это означало бесконечные подарки, море внимания и исключительную привилегию сидеть за любым взрослым столом.

Но больше всего меня интересовала другая, тайная, мужская сторона его жизни: Лева был любимцем женщин. Узкое энергичное лицо, тонкий удлинённый нос, серо-зеленые глаза,

атлетическая фигура, — сказать, что он был красив, значило ничего не сказать. Самый простой костюм сидел на нем с элегантной небрежностью, снискав ему незаслуженное определение “стиляги”, а Мага, обращаясь ко мне в присутствии Левы, частенько замечал, сверкнув скупой улыбкой, что хорошие девочки не дружат с такими пижонами. Точнее сказать, Лева был всеобщим любимцем, женским — в том числе, но не из мелких городских донжуанов и даже не из светских львов. Он любил их так же неистово и страстно, как саму жизнь. “Женщины — это аромат и квинтэссенция жизни. Они — больше, чем жизнь, — сказал он всем нам однажды на 8 марта, мастерски откупоривая шампанское, — и знаешь почему, Жуля? — Мама замахала на него руками и засмеялась. — Потому что они сами творят жизнь. Я чувствую и знаю женщин лучше, чем они сами, и за это они меня любят”.

— Я бы сказала, слишком любят.

Он умел пробудить в любой из них сущность самую глубокую и потаенную — ребенка, любимого ребенка, может, в этом заключался секрет их неизменной привязанности, о которой я узнавала много лет спустя после его смерти. Многие приходили к нему сами, несмотря на жесткость железных запретов, пробившись через тяжелый страх скандала, с последующей реальной утратой перспектив на семейную жизнь, и спустя десятилетия плакали, признаваясь мне, уже взрослой, как были счастливы с ним.

...Избранницей Левы стала сероглазая белокожая девушка, немногословная и сдержанная. Именно поэтому ее редкий, но неудержимо веселый смех воспринимался как драгоценный дар. В день своего рождения она не могла открыть дверь собственной квартиры, чтобы пойти на работу, так как дверь оказалась заваленной охапками свежей сирени.

Для свадебного торжества были расставлены большие столы по всей длине просторного двора, застелены клеенчатые скатерти, над ними мужчины соорудили брезентовый тент, к которому подвели электрические лампы. Скромно отклоненные бабушкой соседские предложения о помощи были забыты в первый же день, так как последовало лавинообразное прибытие гостей. Готовить приходилось всем домом. Те, кто поели, подняв бокалы за здоровье молодых, вынуждены были уступать места вновь прибывшим. Остальные участвовали в джегу¹, который вообще не кончался.

¹ Джегу — народные игрища, адыгские песни и пляски.

Но это было только началом. За неделю явился весь город и большая часть республики. Приехали какие-то неизвестные друзья с Закавказья: три азербайджанца, четыре грузина и два армянина. Были две девушки из Вильнюса и один парень с Украины. Явились трое молодых людей из Махачкалы, двое — из Осетии, огненно-рыжий чеченец с сыном — подростком, молодые супруги из Алма-Аты и один сибиряк, который отдыхал в Кисловодске и успел подружиться слевой во время его двухдневной поездки. Нам, детям, поручили собирать пустые бутылки и складывать их в ящики, которых уже набралось больше десятка. Детский стол располагался поперек взрослого и стремительно пополнялся, в основном фруктами и сладостями, из которых я больше всего любила медовые ромбики — зыкерыс и огромные, закрученные в желтую, солнечную спираль — джедыкерыпш. Танцевали и пели все, в том числе те, кто вообще не умел. Я вела мужскую партию в исламее, так как она была сложной для брата, а он исполнял женскую. Невеста стояла в углу дальней комнаты, покрытая с головой прозрачным белым платком, и моя

почетная миссия заключалась в том, чтобы заводить к ней девушек. Женщин заводили мама или бабушка.

После свадьбы Лева с молодой женой сняли квартиру неподалеку и пропали. Молодожены не появились и во время небывалого ливня, который вскоре разразился. Дождь лил сплошной серой стеной, размывая контуры предметов за окнами, пока они не утратили своей очевидной реальности, на наших глазах превратившись в призраки. Мы были заперты дома и вскоре уже не могли выйти даже в магазин, так как улицы превратились в бурлящие реки. Нами постепенно овладевало странное оцепенение, будто потоп уже коснулся и овладел даже невидимыми пределами сознания. Вода угрожающе поднималась к нашим окнам на первом этаже, размывая высокий цоколь, бабушка все время молилась, а Мага совершал дерзкие вылазки, облачившись в свой страшный охотничий плащ и высоченные резиновые сапоги выше колен. Впрочем, и они уже вскоре не спасали. Мутный поток нес сломанные ветви деревьев, куски асфальта, перевернутые мусорные баки и груды городского мусора. Нелепыми айсбергами проплывали оторванные от родной почвы киоски, как маленькие ковчег. Мага плывал на лодке, одолженной у знакомого спасателя, и вылавливал бездомных кошек и собак. После первого порыва бурного ливня продолжался бесконечный затяжной дождь, и вода долго не спадала, а неутомимый Мага, наш единственный связной, приносил диковинные новости о том, например, что разлившаяся река Нальчик принесла рыбу к домам на окраине и там ловят ее, закидывая удочки прямо из окон своих домов.

Лева с женой, по их словам, вышли на улицу только после того, как вода уже схлынула, и были несказанно удивлены: они даже не заметили потоп.

Однажды, по прошествии года, я приотворила дверь в комнату, в которой находился Лева. Он стоял спиной ко мне, повернувшись к окну, и казался странно высоким. И тут я увидела: он парил над полом. Я очень быстро закрыла дверь, потерла глаза и снова осторожно открыла ее. Сомнений не было: он висел в воздухе, оторвавшись от дощатого пола сантиметров на пятнадцать. Я никому ничего не сказала. Я была будто сомнамбула, я не помнила ничего из того, что делала в течение этого дня. Вечером, когда все собрались за ужином, Лева внезапно встал из-за стола, пружинисто шагнул несколько раз, остановился, обводя всех смеющимся взглядом, и сказал: “Я хочу сделать заявление”. Все оторвались от тарелок и посмотрели на него. “Я научился левитировать”.

— Что это такое? — спросила бабушка.

— Левитировать — это летать, — пояснил Мага.

— Слушай, ты не в себе, — сказала мама, первая овладев ситуацией, и положила в мою тарелку куриное крылышко и пасту¹. Папа сохранял невозмутимость, приличествующую зятю.

¹ Паста (*адыг.*) — крутая пшеничная каша типа мамалыги, заменяющая хлеб.

— Я говорю серьезно, — сказал Лева таким тоном, что все снова внимательно посмотрели на него. Но мама вспыхнула: “Это уже не смешно”.

— Я и не пытался рассмешить. У меня получилось.

Все переглянулись. Тут я не выдержала: “Это правда, правда, я сама видела!” — закричала я.

— Я всегда знала, что эта беготня с высоких гор добром не кончится, — сказала мама с досадой.

Лева был бледен:

— Послушайте, это не бред. Я не сумасшедший. У меня действительно получилось.

— Это противоречит здравому смыслу, — отрезала мама. — Этого не было в истории человечества.

— Как раз в истории это было, — невозмутимо обронил отец, — например, левитировал Фома Аквинский, или святой Августин, или Франциск Ассизский, я точно не помню. Публично левитировали йоги на больших стадионах, забитых публикой.

— Я не святой и не йог, я — сам по себе. И со мной это было.

— Хорошо, — сказала мама, порозовев, — тогда покажи нам.

Лева секунду что-то разглядывал на своей тарелке, потом резко встал и вышел.

С тех пор он больше не парил в воздухе, по крайней мере, я не видела. Он стал “солидней”, как говорила мама, и по ее интонации чувствовалось, что это хорошо. Тихий вечерний шепот, сочившийся из родительской спальни через тонкую освещенную полосу неплотно притворенной двери (который я невольно слышала, благодаря своему собачьему слуху), постепенно перестал быть тревожным.

Все детство я невинно и беспрепятственно пользовалась этим даром — слышать за закрытой дверью. Помню один разговор, услышанный, как обычно, из-за закрытой двери, когда мамин голос обрел особые звенящие интонации: “Левка, у тебя самая обманчивая внешность: тело атлета и сердце ребенка. Но больше всего ты похож на огромный дом с вывеской “Бесплатный кров для всех желающих”. Кто они, кого ты пускаешь, может, среди них воры и обманщики или те, что наследят в грязной обуви, а то и наплюют”. Лева засмеялся, и я почти увидела, как он провел рукой по пышным волнистым волосам мамы. “Жюля, не беспокойся, я вижу каждого таким, каков он есть, но каждого могу любить”. — “Я давно знала, что ты — ненормальный”.

Жизнь вокруг него превращалась в пеструю кутерьму, — и в этом они были похожи, только у мамы она была направленной и деловой, а у Левы — веселой и праздничной. Всем троим, Лева, Маге и маме было свойственно ликующее ощущение жизни. Когда позже, уже интравертным подростком, я приступила к целенаправленным поискам философского камня или хотя бы его скромной замене, я вспоминала об этом бурном, стремительном потоке жизни, подключенном, кажется, к высоковольтному напряжению. На этом фоне я начинала сомневаться в самой сфере моих исканий: библиотека, философия, литература, общение, похожее на внезапные прорывы, — все это казалось мне лишь бледной тенью той живой сути, которой они всегда владели, не называя ее имени.

Лева с Магой еще задолго до весны готовились к восхождению, “отливали” свою форму, и я болела за них на футбольных, волейбольных и баскетбольных площадках, страстно следя за сухопарыми фигурами, которые носились за мячом по немислимо сложным траекториям, сбивая с ног соперников, и отражали сверкающими молодыми телами робкое весеннее солнце. Пользуясь особой благосклонностью “племянницы Левки и Маги”, я чаще других оказывалась на заднем сиденье взрослых двухколесных велосипедов, которые неслись на бешеной скорости, так что дискретные окружающие предметы, пейзажи и лица теряли четкость очертаний и превращались в единый смазанный бесконечный кадр. Я до краев наполнялась кислородом, пытаюсь сопротивляться резким, тугим струям ветра, бьющим в лицо и напряженные ноздри.

Мага ежедневно “подкачивал” икры своих длинных сильных ног, и без того достаточно накачанных, его спортивная скакалка равномерно жужжала, периодически ускоряясь до визга. Над чистым смуглым лбом, в такт Маге, прыгало неусмиренное полукольцо темных волос, о которые ломались все пластмассовые расчески. Я составляла ему компанию, прыгая на своей детской веревочной скакалке, и мечтала когда-нибудь достичь вожделенного мастерства Маги, который за один прыжок прокручивал свой тяжелый резиновый шнур дважды, ни разу не сбившись. Затем он с тем же молчаливым медлительным упорством сгибал и разгибал руки, легко и уверенно сжимая нетяжелые гантели, напрягал бицепс, а я восхищенно тыкала одним пальцем в самый центр твердого внушительного бугра.

Когда Лева с Магой обретали наконец необходимую спортивную форму, они шли на восхождение, и Мага, несмотря на Левины протесты, однажды посадил в рюкзак своего щенка. Оказавшись на снежной вершине, щенок ослеп от яркого солнечного света и свалился в глубокую расщелину. Мага, недолго думая, полез за ним. Это было настоящим безумием, но его не отговаривали, понимая, что бесполезно, а молча остались страховать. Через два часа живой щенок был извлечен. Братья возвращались похудевшими, загорелыми и оживленными. Мне оставалось только подолгу разглядывать их фотографии: Лева и Мага среди других парней на фоне сияющего снежного покрова с голыми торсами; да вдыхать снежный аромат царственных, неправдоподобно живучих рододендронов и эдельвейсов, которые мне приносили как подарок с поднебесья.

Частенько Мага возвращался домой с бездомными котятами. Бабушкины протесты постепенно глохли, когда Магино красноречивое молчание (он никогда ни о чем не просил) соединялось с моими горячими мольбами оставить бедного котенка. Завидев Магу, они стекались к нему со всех сторон, выныривая из щелей и подвалов. Впрочем, так же вели себя и собаки. Одна дворняга провожала его до работы и обратно в течение месяца. Мага кормил ее так же, как своих котов, и она тоже поселилась в нашем дворе.

Он совершал длительные одинокие вылазки в лес, лазил по деревьям, расширяя свою и без того обширную коллекцию птичьих яиц, которую он знал как птичий бог, и каждое мог опознать с закрытыми глазами. Во время массовых перелетов, после ночи, он находил мертвых и раненых птиц, натывавшихся в темноте на провода и шпильки высоких башен, и нескольких выходил, обнаруживая чудеса ветеринарного искусства.

В октябре, когда бесчисленные косяки форели устремлялись вверх по горным рекам на нерестилище, он собирал команду рыболовов. Но самые серьезные из них вскоре отпадали, так как Мага частенько выпускал в водоем всю наловленную рыбу.

Иногда на выходные к нам захаживал городской сумасшедший Хамыка, который отличался ровным незлобивым нравом. Я его совсем не боялась, а однажды даже

подралась с соседскими мальчишками, которые под улюлюканье и хохот обстреливали его комьями земли, стараясь попасть ниже спины. Хамыка старательно защищался руками и смешно всхлипывал. Он всегда ходил с мешком, и меня раньше пугали им, угрожая, что в случае особого непослушания он меня в него сунет и унесет, но очень скоро я убедилась в невинном предназначении пресловутого мешка: в него складывались подарки. Как-то он попросил у меня красную одежду (он обожал все красное), и я, чтобы угодить ему, сгребла все красные вещи, которые подвернулись под руку в платяном шкафу. Сверху я положила мужской одеколон “Шипр”. А вечером выдержала могучий шквал Магиного гнева, так как красными вещами оказались в основном его спортивные майки и трусы.

Периодически возгорающийся и опасно тлеющий боевой дух Маги отмечен всеобщим молчаливым признанием неформального лидера нашего района. К нему, восемнадцатилетнему, приходили с просьбами великовозрастные мужи, которым нужен был надежный железный кулак и неукротимый нрав. Его скандальная репутация первого забияки и драчуна стремительно взлетела и застыла на самой высокой планке в странной иерархии мужских ценностей. Он был кумиром всех окрестных мальчишек, и получить от Маги веселый подзатыльник означало снискать его благосклонность. У него, как у хорошего воина, было несколько шрамов на теле. Младшие мальчишки частенько просили показать их, и когда Мага был в хорошем расположении духа, снисходительно задира л футболку и демонстрировал тонкий длинный шрам на груди слева и продольный — на животе. Я знала, что в густых шелковистых зарослях непокорных волос таился грубый шрам от кастета.

С начала лета Мага целиком отдавался своей основной страсти — подводному плаванию. Никто не мог объяснить этой стойкой одержимости, кроме меня. Я хорошо помнила, как бабушка упомянула в одном разговоре: “Я узнала, что жду младшего ребенка, после того, как выкупалась в Баксане”. Это означало, что Мага был подарен бабушке рекой. Заинтересовавшись услышанным, я в тот же день спросила бабушку об обстоятельствах моего рождения, и бабушка ответила с ласковой улыбкой: “Ты родилась, когда слились две реки Кабарды, Терек и Баксан”. (Это было очень убедительно, так как отец мой был терским, а мать — баксанской.) Вечером я поведала о своем знании маме, и она, не отрываясь от спешной вечерней стряпни, между делом рассеянно крикнула папе, который в тот момент читал в комнате газету: “Послушай, разве Терек с Баксаном сливаются?” И папа сказал: “Разумеется, Баксан — приток Терека”. “Это не лучшая твоя шутка”, — заметила мама, продолжая возиться у плиты. “Я и не думал шутить,— пробормотал папа и добавил с кроткой улыбкой: — Хотя я понимаю твои чувства”.

Мага учился заочно и работал на стройке и был, в отличие от брата, всегда при деньгах. Лева же писал диссертацию. Однажды я была свидетелем того, как он услышал расхожее утверждение, что убивший нескольких человек называется убийцей, а убивший несколько миллионов может быть назван победителем. Я сама почти физически ощутила недоумение, отразившееся на его лице. С тех пор он занимался теорией войн. Так он дошел до эпохи правления Сталина. Благодаря своим связям, ему удалось невозможное: проникнуть в закрытые архивы, и все свободное время он проводил там. Теперь в семье был в ходу анекдот, когда на вопрос, что же делает Лева, отвечали— левитирует. Братья стали запирались в комнате и подолгу тихо разговаривали, лишь однажды до меня долетели Левины реплики с непривычными напряженными интонациями: “Ты пойми, это не сотня, не тысяча, это — десятки и десятки тысяч!” Впрочем, ничего не происходило, кроме вечерних разговоров братьев за закрытыми дверями, после которых Лева выходил бледным, а на лице Маги появлялось характерное выражение упрямой решимости. Леву все больше засасывал архив, а Мага целиком отдался подводному плаванию. Вместе с тем я чувствовала, как что-то неуклонно меняется, когда еще ничего нет, но грядущие

перемены рождаются легким холодком на самом дне сердца, будто мое привычное пространство уже дало невидимую трещину.

Вечера

Больше всего я любила вечера, когда мы с бабушкой укладывались спать, и в спальне загорался желтый абажур с закрученными спиралью нитями бахромы; комнату заливал теплый золотистый свет. Я его вскоре тушила, чтобы наблюдать за наступлением вечера, и он неслышно заползал в распахнутые окна, сочился сиреневым мраком сквозь прозрачную кисею занавесей. Он постепенно сгущался и чернел, превращаясь на моих глазах в некую метафору времени, которое сначала обесцвечивает, а затем слизывает предметы. Он приносил свежие струи — первые предвестники ночной прохлады, в которых растворялись усилившиеся запахи зелени и цветов из палисадника, и призрачную игру света и тени. Я вытягивалась на белоснежных крахмальных простынях, ощущая всем телом их приятный холодок. Заходила бабушка, включала свет, пока готовилась ко сну, потом снова тушила, и я просила сказку. Она рассказывала, чаще всего одну и ту же, но я каждый раз выслушивала ее с неослабевающим интересом. Иногда мы говорили подолгу, и я, защищенная темнотой ночи, могла задавать самые смелые вопросы, которые не осмеливалась задавать днем:

— Нана, почему мы рождаемся и умираем, рождаемся и умираем? Это же для чего-то нужно?

— Каждый человек, каждый народ и все человечество посланы Аллахом, чтобы совершить и оставить для мира что-то очень важное. Пока они не поймут и не сделают этого, так и будут рождаться и умирать, рождаться и умирать.

— А если совершат?

— Исчезнут навсегда.

— Все люди исчезнут?

— Исчезли же великаны, испы, чинты и нарты. И мы исчезнем, когда совершим то, что должны.

Я похолодела:

— Тогда уж лучше не совершать.

— Нет, не совершить нельзя. Надо перестать бояться смерти, ведь праведные попадают в жэнэт.

— Праведные— это те, что совершили что-то главное?

— Да.

— Нана, а ты совершила что-то главное?

— Думаю, еще нет.

У меня отлегло от сердца. (С того вечера я наблюдала, как день ото дня бабушкины спокойные глаза становились порой совсем прозрачными, и поняла, что она давно преодолела страх смерти, а может, и саму смерть. Однажды я ей сказала об этом. Она рассмеялась: “Это потому, что у меня есть ты”.)

— А что будет после людей?

— Будет конец света. И свет перевернется, и огонь станет водой, а вода — огнем. Даже горы будут сотрясаться и рушиться, мир погибнет от огня и воды, и останется один Аллах. Настанет новый мир. И всевышний пришлет кого-то гораздо лучшего, чем человек.

— Но кого?

— Должно быть, он вызовет к жизни души просветленных и чистых, и будет новый народ.

— Но это же будет человек!

— Совсем другой человек.

— Ты мне не ответила, для чего же мы все-таки рождаемся?

— Я думаю, чтобы когда-то среди нас появился на свет один, который бы дотянулся до неба.

Много лет тому назад захотели Нарты — те, что были до нас, — дотянуться до неба. Взобрались они на самую высокую гору, стали друг на друга, вот уже достигли самых высоких облаков, но так и не дотянулись до неба. Тогда они поставили свой скот, и лошадей, и мулов, и опять не дотянулись до неба. Оставались только маленький мальчик со своей кошкой. Потерявшие надежду Нарты поставили наверх громадной пирамиды кошку и ребенка — и мальчик дотянулся до неба.

— А после Нартов люди дотянулись до неба?

— Нет.

— Почему?

— Так уж повелось, что в борьбе за свою землю они погибали и погибали, и прерывалась цепочка, тянувшаяся вверх в неистребимом стремлении коснуться неба, и уходили под землю живые. И все-таки люди становились на плечи друг друга, чтобы дотянуться до небесной выси. А мертвые подпирали своими плечами хрупкие ноги живых, укрепляя собой зыбкую твердь сырой земли, и снова живые становились на плечи мертвых в этой бесконечной пирамиде, не достигающей неба.

По утрам бабушка никогда меня не будила: она боялась, что душа не успеет вернуться в тело, потому что она покидает его во время сна и скитается. Особо любопытные души успевают семь раз обежать вокруг земли, все на свете разведать и вернуться вовремя в спящее тело. Но ни одна душа не ошибается и всегда помнит дорогу домой. Юркие и вездесущие, они проникают в самые укромные тайные уголки, куда громоздкое неуклюжее тело и не подумало бы забраться. Они воплощаются в серые валуны, чтобы катиться с чужих незнакомых склонов, и в невидимые мелкие камни, затерянные среди речной и морской гальки, омываемой водами неведомых рек и морей, и сами

растворяются в разливе чужих вод. Души, обернувшись мелкой рыбкой, бороздят со своим косяком пресные и соленые воды великих рек, морей и океанов. Они могут узнать, что, кроме Черного, существует Красное, Желтое, Белое и Мертвое моря, и еще масса других, и четыре необъятных океана, которые на самом деле — одно целое, один мировой океан, потому что все океаны перетекают друг в друга. Души проносятся серыми и рыжими белками по чужим лесам, экзотическими птицами могут отвесть незнакомый вкус и аромат сладких плодов в вечнозеленых джунглях и тропических садах, названия которых не знают. Гонимые попутным ветром, они катятся перекасти-полем по чужим бескрайним равнинам, или одним из бесчисленных колес, что поднимают дорожную пыль по бесконечным дорогам мира, или пролетают грозowymi облаками над прекрасными белыми городами дальних стран. Кто-то порой удивляется, узнавая незнакомое место или человека: “Как же так, ведь я здесь никогда не был! Со мной такого никогда не происходило! Ведь я раньше никогда его не встречал!” Поэтому иногда мы узнаем многое из того, чего раньше никогда не слышали или не знали. Тело никогда не знает, что это — проделки души.

Но иногда с душой может приключиться беда, например, она может свалиться в глубокий колодец или где-нибудь застрять, или встретить по пути Псахех, собирателя душ. Тогда она не возвращается вовремя в тело, и все думают, что спящий человек умер. Освободившись, душа может вернуться в свою телесную оболочку слишком поздно, когда та уже под землей. Но, проснувшись, бедолага не находит дороги наверх, и его душа покидает заблудившееся тело навсегда. Ибо душам всегда нужен свет и простор.

Я мучительно завидовала судьбе этого вечного бродяги — душе, так как меня тоже одолевала стойкая страсть быть повсюду. У меня сами собой наворачивались слезы, когда я взирала на вечно переменчивую, вечно желанную тонкую полоску горизонта, — там, где сходятся земля и небо. Я до сих пор смотрю на нее с глубокой тоской.

Когда меня сотрясал очередной приступ лихорадки “я хочу пойти туда-то и увидеть то-то”, мама восклицала: “Ну неужели так трудно сидеть дома, как всем нормальным детям? Кажется, вместо собственного ребенка мне в роддоме подсунули цыганку!” В глубине души я признавала, что это правда: я принадлежала племени кочевников.

В пять лет в детском саду мне подарили большую книгу с изображением Ленина. Я сразу выучила все стихи из книги, в том числе и революционные, и решила прочитать их бабушке. Она стояла лицом к плите, — ни разу не обернулась и не сказала ни слова, пока я старательно декламировала. Я смутилась и замолчала. “Тебе что, не нравится?” “Видишь эти тополя, — сказала неожиданно бабушка, указывая на деревья за окнами, — мы сажали их вместе с твоим дедом в честь своих родичей. Они были урки. Одни из них погибли в 1779 году на правом берегу реки Малки. Те немногие, что остались, — в 1917 году, когда случилась революция, и еще позже, в 1937. Эти тополя без пуха. А весной, когда распускаются почки, они начинают издавать винный запах и тихо шуметь молодой листвой”.

Наша семья

Мой отец уже в вузе знал, что будет исследовать: творчество Шаоцукова. Он был на третьем курсе, когда в республике праздновался пятидесятилетний юбилей поэта. Отец вернулся домой и ездил по колхозам республики, читая лекции о его творчестве. Точнее сказать, — не ездил, а ходил (так как транспорта в начале пятидесятых почти не было). Клубы в то время были редкой собственностью богатых колхозов, и он ночевал под открытым небом, возле правления. Однако в Ленинград вернулся с собранными

материалами. Жизни и творчеству А. Шаоцукова была посвящена его дипломная работа, и после ее защиты он получил направление в аспирантуру. В Москве, работая в архивах, он нашел детское письмо моей будущей мамы, которое она послала Юрию Либединскому, другу дедушки: она просила помочь получить карточки на хлеб, — семье военнопленного в них было отказано. Вернувшись в Нальчик, отец пришел к вдове А. Шаоцукова. Моя будущая бабушка терпеливо и лаконично ответила на все вопросы, показала документы, бумаги и архив, но от нее требовались еще личные воспоминания. Она сослалась на неграмотность (а реально просто стеснялась говорить о своем муже) и сказала: “Ты спроси мою старшую дочь. Она грамотная, лучше расскажет”. И папа пошел в городскую больницу, в одно из терапевтических отделений, в котором работала мама.

Мы занимали одну комнату на этаже молодых преподавателей университета: они все были молоды, с одинаковой зарплатой, крепким здоровьем, общими интересами и проблемами, которые решались тоже сообща. Каждый мог беспрепятственно взять отсутствующий в доме продукт в соседском холодильнике, младших детей воспитывали старшие, соседские. Таким же образом была вынянчена и я — двумя девочками-подростками, которые добросовестно смотрели за мной, когда мама вышла из полуторамесячного декрета на полуторную ставку и прибегала в кратких промежутках кормить меня с липким от молока бельем. Молодые пары устраивали по любому поводу сабантуи, с вареной картошкой, портвейном № 17 и танцами; скудный стол не был помехой веселью. Родители на протяжении всей жизни не теряли связи со всеми “общежитскими”. Мама называла этот период “благодословенной эпохой шестидесятых”.

Многие впечатления детства и юности мне казались такими глубокими и значительными, что я страдала от сознания, что переживаю их в одиночку и другим они не доступны. Мне до боли, до слез было жаль уплывающие события и образы, которые оставались лишь в моей памяти.

Наши соседи по коммуналке съехали, получив новую квартиру, и наша собственная нам показалась огромной и пустой; первое время мы с братом бесцельно слонялись по ней, скучая. Впрочем, долго скучать не приходилось, так как наше жилище напоминало Курский вокзал: каждые пять минут звонил телефон, я неслась к нему, опрокидывая по пути сдвинутые в центр комнаты во время уборки стулья, чтобы пятью минутами позже уже мчаться к двери. Меня кто-то обнимал, спрашивал маму, и она выходила навстречу близким, друзьям и просто товарищам, близким и дальним родственникам (впрочем, дальних не было, и мне приходилось только удивляться несметному числу ближайшей родни двух маленьких фамилий), а также к друзьям и родственникам наших родственников из всех сел и городов республики, Адыгеи, Карачаево-Черкесии и, кажется, всех городов и весей Союза. К вечеру после очередного звонка я заявляла, чтобы мне оплачивали ставку телефонистки, а заодно вахтера — тоже ставку. К нам приходили с проблемами, которые могла решить одна только мама. И она решала. Легко. Весело. Иногда гневно и раздраженно. Но быстро и всегда положительно, ибо не было на моей памяти человека, который мог бы устоять перед ее обаянием. Многие из ее многочисленных пациентов со временем становились друзьями семьи. Ни один праздник не обходился без сладких сдобных пирогов тети Полины с ее темно-вишневым румянцем на широких скулах, тревожными глазами, с неизменным платком на голове, который она повязывала “по старинке, по-казацки”, — и это придавало какую-то кроткую завершенность ее стройной тихой фигурке. Я частенько приходила к ней в гости с мамой, мы хорошо знали всех ее домочадцев, даты их рождения и даже некоторые семейные тайны, которые поверялись только маме в моем присутствии. Мама сразу вспыхивала, когда тетя Полина очередной раз тихонько плакала, пряча лицо; “опять он?” — быстро спрашивала мама и шла разбираться с дядей Петей, похожим на Тараса Бульбу с

известной иллюстрации, который, как выяснилось, снова бил тетю Полину после очередной попойки. Мама запиралась с ним на кухне, я различала только ее неподражаемую интонацию, дядя Петя выбегал, похожий на раскаленный медный таз. Тем не менее он никогда не держал на маму зла и бесплатно стриг моего брата под “полубокс”. Я случайно узнала, что когда-то давно мама вылечила тетю Полину от тяжелого бронхита.

Регулярно приезжала серьезная круглолицая учительница из Малки. Ее муж был инвалидом, и Мират приходилось одной содержать пятерых детей и двоих стариков, родителей мужа. Каждую субботу она вылетала в Москву, закупала вещи, в воскресенье возвращалась домой, чтобы в понедельник утром идти преподавать математику в местной школе. В течение последующей недели она продавала их с небольшой наценкой, а в субботу снова выезжала. Так продолжалось до тех пор, пока она не слегла с крупозной пневмонией. После выписки Мират приехала с большой сумкой и предложила маме очень дорогие вещи совершенно бесплатно. Мама повысила голос, Мират расплакалась: “Я бы тебе свою жизнь отдала за то, что ты для меня сделала, не то что эти проклятые тряпки”. И тогда мама согласилась покупать ее товар за свою цену.

Почти все ее пациенты произносили фразу, которая вследствие ее упорной повторяемости стала казаться мне странной: “Твоя мама вылечила меня одним взглядом”. “Им это кажется, — говорила мама, — я только подняла настроение и внушила веру. А вылечили их медикаменты”. “Покажи, где болит и как, — прерывала она нескончаемый монолог пожилых тетюшек. — Мне вылечить вас нужно, а выслушивать историю всей жизни некогда”.

Маму вызывали в дальние районы, но когда больничная “скорая” была занята, а больные не могли прислать машину, ее вез отец. Иной раз вечером, в гололед.

Очень часто мы ездили на родину мамы, колыбель адыгского просветительства. Здесь еще витал бесплотный дух нескольких гениальных безумцев, дерзнувших пробиться через непроницаемую завесу. Как-то мы остановились напротив небольшого домика, это была народная библиотека.

В маленьком аккуратном дворике за библиотекой догорал костер: жгли книги. Я подняла темную, тисненую обложку, истлевшую по краям: “Антология адыгских инструментальных наигрышей”. Кажется, это был том из трехтомника. “Зачем вы сожгли антологию? Это же уникальная книга!” — почти прокричала я двум девицам в одинаково лиловых платьях. “А что делать? Эту книгу уже лет десять никто не спрашивает. Она пылится, мы таскаем ее с места на место. Другие библиотеки ее не берут. И другие книги так же...”

Летом мама брала меня в научные экспедиции в отдаленные районы республики с группой студентов-старшекурсников. Последний раз были Зольские пастбища. Пока мы подъезжали к ферме, несколько раз напал и рассеивался туман, накрапывал мелкий дождик. “Это низкие тучи”, — пояснил Басир, наш провожатый, похожий на индейца. Когда мы доехали, ветер согнал остатки облаков, и над нами широко раскинулся очистившийся купол неба, жадно набирающий потерянную синюю глубину. Его перехлестнула низкая радуга, соединив равнину с горой. Альпийский луг перекатывался изумрудно-серебристыми волнами трав, его пересекали прозрачные родниковые речушки, по краям которых толпились островки лютиков. По всему обозримому пространству рассыпались лошади, в основном это были гнедые кобылы с жеребятами. Голова кружилась от непривычной высоты и озона.

До обеда мы обследовали фермы, заполняли карты и обсчитывали материал. (И здесь выявлялся высокий процент общей патологии.) После пяти все освобождались. Басир оказался хирургом зольской районной больницы. “Вас интересует конный спорт?” — спросил он. “Интерес у нас есть, но теоретический”. Практический интерес сохранялся только у меня. Басир подвел ко мне вороную кобылу: “Она самая понятливая и смиренная”, — помог взобраться в седло, а сам сел на гнедого жеребца. Моя кобылка тронулась — и я испытала ужас и восторг одновременно. “Ты первый раз?” — крикнул мне Басир. Я молча кивнула. Ветер налетал порывами, трепал волосы. В городе он казался мне закованным в ущельях улиц. Здесь же он царил на всем пространстве до самого горизонта и, как художник-самоучка, тщетно перемешивал два основных ярких цвета — зеленый внизу, синий наверху и немного белого — стремительно пролетающие облака. Мы поднимались вверх по пологому склону горы и остановились возле неглубокой пещеры. Я самостоятельно спешила и зашла внутрь. Меня обдало прохладой. “Таких пещер здесь немало, — сказал он, — в некоторых еще находят скелеты. Моя мать — балкарка. Она рассказывала, что в начале войны, во время переселения, большинство стариков отказывались покинуть свои дома, обрекая себя на голодную смерть. Иногда на аул оставались один-два старика. Перед смертью они уходили в пещеры”. Конь под Басиром пошел галопом. Моя лошадка, которая до сих пор чутко улавливала каждое мое движение и, кажется, даже интонацию в голосе и настроение, тоже пустилась в галоп. “А-а-а! — закричала я. — Держи ее, сейчас упаду!” “Натяни поводья!” — крикнул Басир, обернувшись. Я до упора натянула поводья, и лошадь стала. Басир почти все время молчал, но вскоре оживился (очевидная озоновая эйфория). Он что-то говорил относительно своей работы в селе, я о чем-то спросила, не понимая, и он внезапно осекся.

— Попробуй объяснить...

— Ты все равно не поймешь.

— Почему?

— Ты другая. Городская.

— Понимаю: противоречия между городом и деревней... Это все еще так актуально?

— Еще более актуально.

— И там, и там — жизнь.

Он усмехнулся:

— В городе слова, а не жизнь. Я не силен в выражениях. Но город приглаживает, вместо того чтобы расчесать, только водит по коже, но не пробирает до костей.

— Выходит, жизнь — вне города?

— Да.

— ...которой я не знаю.

— Думаю, так оно и есть.

— Мне нравится твоя откровенность.

— Не обижайся.

Но я замкнулась. Я ненавидела себя и уже искала предлог, чтобы вернуться на базу.

— Мой отец был чабаном, — сказал Басир, — я часто помогал ему и привык к животным. Иногда мне кажется, что я понимаю их лучше, чем людей. Мальчишкой по ночам сторожил скот. Я устраивался прямо среди баранов, чтобы было теплее, или возле спокойной кобылы, или у теплого бока коровы, пахнувшей молоком.

— Да они могли тебя раздавить!

— Вряд ли. Они чуткие. Хотя условия у скота были лучше, чем у людей. Нас было десять у родителей. Я был шестым. По-настоящему мы их видели только зимой. Отец в сезон был на пастбищах, мать весь световой день вручную обрабатывала колхозное поле, а ночью — свой участок.

— Ночью?

— Кто-то из десяти детей держал фонарь, а мать со старшими копали или пололи.

— Зачем же копать ночью? Копали бы днем!

— Тогда нас заметили бы. Председатель колхоза не позволял сажать даже картошку на приусадебном участке. Уничтожались грядки, сносились тракторами заборы: “Достаточно входа в дом!” У него самого в доме ничего не было. “Надо работать!” — вот первый и последний лозунг. Только отучился — иди работать в колхоз. Тунеядцев выселяли в Сибирь. Вызывали на партсобрания, выносили постановление и отсылали. Коровы, принадлежащие тунеядцам, не имели права пастись в колхозных стадах.

— Как же тебе удалось поступить в вуз?

— Чудом. Чтобы поступить, нужен был паспорт, а его не выдавали — надо было удержать молодежь в селе для работы в колхозе. Последний выпускной год я учился в соседнем селе, жил у родственников: там получить паспорт было проще. Чтобы вырваться в город на учебу, поехал по комсомольской путевке в составе строительной бригады и год строил хлебозавод.

Солнце уже закатилось, сумерки стремительно сгущались. Мы отправились на базу, но темнота быстро нагнала нас.

Культурная мамина программа неизменно трещала по швам: она посылала нас на выставки, в музеи, театры, кино, на авторские встречи во всеююзные пионерские и комсомольские лагеря. Если во мне эта воспитательная стратегия разбудила неумную жажду новых впечатлений (сходную с маминой), то у брата — страсть к уединению и тишине. Перед очередным культпоходом голос брата пружинил зреющим раздражением: “Ради бога, никого не доставай вопросами. Когда-нибудь твоя маниакальная любознательность плохо кончится”.

— Например?

— Ну вот, снова.

На этот раз мы пришли на выставку народных инструментов. Мы оказались здесь единственными посетителями, и автор, пожилой человек с темными пронизательными глазами, взялся показать нам свои инструменты: шичапшина старого образца, шичапшина, усовершенствованная Ш. Шеожевым, кабардинскую шичапшину в форме кинжала, гудок, гусли, двенадцатиструнную осетинскую арфу, арфу Давидову, которой я заинтересовалась. “Знаете, кто такой Соломон?” — спросил меня автор. Я ответила, что помню наизусть притчи Соломоновы. “В таком случае вы должны знать, что израильтяне разделялись на два основных колена: Давидово и Соломоново. Помните историю Давида?” Да, я помнила. Когда я дошла до грешного вождения Давида к Вирсавии, с последующим изгнанием Урии на войну, Б.М. меня прервал: “Вы ведь знаете, что адыги произошли от хаттов — хеттов?”

Я удивилась его осведомленности.

— Так вот, близнец Иакова, Исав, имел две жены-хеттянки. И жена Давида, Вирсавия, отобранная им у законного мужа Урии, — хеттянка. Господь покарал ее с Давидом за их грех, но потом послал им сына Соломона.

Додумывая его мысль о родстве древних иудеев с древними адыгами, я чуть не произнесла банальность: “Мы все, оказывается, родственники: все мы — дети Адама”.

Чуть позже Б.М. рассказал о себе, о том, что не может добиться рабочего помещения, живет в однокомнатной квартирке, которую затопили соседи, потолок обвалился, от мастера требуют баснословные налоги, и он месяцами не может пробиться к министру.

Я передала весь разговор маме. На следующий день Б.М. попал к министру. Правда, не знаю, помогло это ему или нет.

Маме была свойственна какая-то невероятная плотность жизни. У меня возникало смутное ощущение, что она предчувствует короткую жизнь и все время пытается ее спрессовать — максимально. Она сообщала существующему пространству некий живой объем и энергию реальности. Она отдавала себя самозабвенно: гневно, радостно, враждебно, с любовью, но никогда — индифферентно. Я боялась, что однажды фонтан ее энергии иссякнет. Я не знала, как это сказать и как предотвратить.

Но самым большим испытанием была ее любовь. Она невидимым кольцом окружала меня, как огромный камень-оберег с отверстием в середине, — такие висели на деревьях старой усадьбы. Оберег меня ограждал и не давал сблизиться с жизнью на короткое расстояние, необходимое для моих близоруких глаз. Меня неудержимо влекла опасная дистанция, я чувствовала искушение и отвагу очутиться лицом к лицу с самой сердцевиной жизни. “Не торопись, — говорила мать, — после меня успеешь”. Ее незыблемая уверенность в нашей исключительности составляла наш общий крест. Мы с братом не могли не отвечать ее ожиданиям, потому что без этого она немислимо страдала. Меня убивало ее жадное материнское тщеславие, — наши успехи были для нее живой водой. Сравнительно недавно я стала понимать, что развитие моих задатков — результат ее безоговорочной, незыблемой веры в меня. Она развила мою собственную уникальность — индивидуальность, дала мне знание о ней и заставила ее уважать. Постепенно я осознала, что это и есть чувство собственного достоинства: личное знание о лучшем в тебе и безотчетная уверенность в том, что этому лучшему уже никогда не изменишь.

Порой мать казалась мне жертвой какой-то чуждой, инородной режиссуры, которая принималась ею по собственному неведению. Однажды она сказала: “Я просто счастлива, что родилась при советской власти. Кем бы я была, если не она? Да никем”. Я молчала, так как испытывала странную неловкость; мне казалось, что она больше убеждает себя в этом. Впрочем, я могла ошибаться, — ведь мать, в отличие от меня, принимала действительность целиком и, как мне казалось, безоговорочно. Но иногда ее глаза зажигались знакомым мерцанием, похожим на бабушкино. В глубине его, за плотно закрытыми темными створками просвечивало какое-то недоступное знание. На секунду створки приоткрывались и обнажался слоистый срез, похожий на излом известняковой горы и безграничное многоцветие пластов.

Над ее головой колыхался белый прозрачный сноп, который, если присмотреться, состоял из тонких мерцающих нитей; он уходил круто вверх и терялся в атмосфере. Повзрослев, я стала подозревать, что его никто не видит, кроме меня. Однажды я спросила отца, видит ли он что-нибудь над маминой головой. Он бегло пробормотал “нет” и снова погрузился в бумаги. Вскоре я решила еще раз задать ему тот же вопрос, думая, что первый раз он меня не услышал. На этот раз отец ничего не ответил, но во взгляде его мелькнуло откровенное сомнение и тревога. Больше я его не спрашивала. Но как-то спросила брата. Он уставился на меня и констатировал, что по мне плачет палата № 6. А сноп в такт ее смеху медленно колебался, белый и чистый, круто уходящий ввысь.

Однажды утром, когда мы вчетвером отдыхали в санатории, мама проснулась и сказала ясно и отчетливо: “У нас в доме потоп. Я увидела это во сне”, — и добавила, деловито обращаясь к отцу: “Тебе следует собраться и немедленно ехать, а я останусь с детьми”. Отец еще лежал в постели и, как всегда, что-то читал. “Мне дан единственный месяц в году для отдыха, а не для того, чтобы я потакал женским фантазиям”, — сказал он рассеянно, не отрываясь от текста, но, посмотрев на маму, молча встал и оделся. Я увязалась следом. Мама не препятствовала: “Она может тебе помочь. Только пусть обует сапоги, не давай возиться с холодной водой и носить тяжести”. “Что же тогда остается?” — спросил папа, но мама нас очень торопила и не ответила на вопрос.

Папа ахнул, когда вода у входной двери тихо плеснула у наших ног. Затопленной оказалась вся квартира, вода подступила к нижним полкам с книгами в большом кабинете, зеркально отражала югославскую стенку залы и даже пропитала обширный ковер спальни. Она просочилась через плотно закрытую дверь моей комнаты и хлынула внутрь вольной струей, едва я приоткрыла ее. По волнам безмятежно плыл белый резиновый кит, названный папой Моби Диком. В кухне и санузле уровень воды доходил папе до щиколоток, а в кладовке мешок с мукой промок до середины. Босой папа растерянно ходил по воде, закатав брюки до колен, и никак не мог прийти в себя. Наконец он перекрыл воду и вызвал по телефону аварийную службу. Я весело черпала воду в ведро совком, стоя в резиновых сапогах, насилиу найденных. Мы вычерпали воду только к обеду, и то благодаря дополнительным усилиям подоспевших мамы и брата.

* * *

В тот день Лева, убегая от самого себя, самозабвенно носился с мячом по тесной баскетбольной площадке, изнывавшей от июльской жары, и внезапно осел. Когда к нему подбежали, он попросил: “Позовите Жулю, она знает, что делать”. Но прибежавшая мама, ставшая такой же белой, как он сам, не обнаружила ни пульса, ни сердечных тонов. “У него остановилось сердце”, — сказал мой брат.

Когда неделю спустя мы разбирали его вещи, на мою голову свалилась целая стопка фотографий и распавшимся веером разлетелась по всей комнате. “Лунные создания” (по собственному определению Левы) грустили и улыбались ему одному. И сквозь соленый туман набежавших слез я читала: “Единственному... на память...” Фотографий было двадцать восемь, двадцать девятой оказалась его собственная.

После смерти Левы бабушка слегла и больше не поднялась. Она пять месяцев не произносила его имени, а на шестой стала говорить о нем как о живом. Например, она могла спросить, когда же Лиуан вернется из командировки, и ей отвечали, что скоро. Или: “Лиуан придет и все мне расскажет”. Но перед смертью она вполне осознанно спросила: “Вы накормили Магомеда?” Она тихо отошла в декабре, спустя полгода после Левы. А в июле следующего года погиб Мага. Все говорили, что он утонул. Но я в это не верила, — он плавал как рыба и даже лучше.

* * *

Мамин белый сноп над головой почти совсем исчез после внезапной смерти ее братьев и матери. Вскоре он отчасти восстановился, но прежним больше не стал. “Каким же он был, — думала я, — до смерти дедушки и маминой сестры?” Однажды он исчез совсем. На другой день она очень буднично сказала: “Если бы где-то продавали смерть, я бы встала в очередь и купила”. Я остолбенела. Эти слова не могли принадлежать моей матери. Когда она вышла, я выронила из рук тарелку. В другой раз она зачем-то зашла в мою комнату и в конце своего распоряжения добавила: “Я и не знала, что смерть можно полюбить так же, как жизнь”. Книга, которая лежала на краю письменного стола, упала, распахнувшись: “Тереза Батиста, уставшая воевать”.

С тех пор она стала слабеть.

В день похорон я, не глядя на нее, отовсюду видела белое-белое лицо, но ее черные глаза были теперь закрыты, очерченные снизу двумя плотными черными дугами ресниц. Я повторила кому-то установленную причину смерти: “Внезапная остановка сердца” (sudden death, как мы однажды прочли с ней в одной английской монографии Introduction to cardiology). Но никто не спросил об истинной причине, о которой знала только я.

Спасаясь от наваждения, я провела целый день в опустевшей бабушкиной квартире, где, кроме привычного, простого убранства и воспоминаний, обступивших меня плотным кольцом, ничего необычного не было. Я выпила горячий чай с прихваченным бутербродом и легла спать. Наутро я спокойно зашла на кухню и с ужасом обнаружила одинокий веник, который стоял в центре, не опираясь при этом ни на один предмет. Похоже, во мне не оставалось больше резервов благоразумия, и я всецело отдалась первобытному приступу дикого страха. Он незамедлительно погнал меня на автовокзал, откуда я первым же рейсом отбыла в аул.

Жанос

Старая усадьба была одной из немногих, которой не коснулась рука нового времени, — она раскинулась на сорока сотках, лишь с фасада старый плетень был заменен на добротную каменную кладку. Перед домом росло гигантское ореховое дерево — оно почти не изменилось со времен моего детства: широкая раскидистая крона покрывала почти все пространство огромного двора. Последний счастливо избежал плена асфальта или модных фигурных плиток, а был выслан на старый манер зеленым ковром сезонного разнотравья. На мощной высокой ветви, кажется, совсем еще недавно висели самодельные

качели: крепкая старая короткая доска, отполированная несколькими поколениями детей, была надежно схвачена с обеих сторон длинными жгутами. Мы бесконечно взлетали на ней, как в замедленном кадре, задыхаясь от немого восторга, касались ногами листьев высокой кроны и с шумом рассекали воздух, разрушая омут прозрачной тишины. За старым орехом стоял

унашхо — большой дом, построенный по традиционному образцу: сквозной просторный коридор с четырьмя большими отдельными комнатами по обе стороны. Я смутно помнила множество саманных кирпичей, которые долго сушились на солнце, и размеренный темп кладки, и кирпичные торсы брата Жанос и его друга.

Слева от унашхо располагался старый дом с единственной комнатой — гошпаш. В глубине прилегающей к ней кухни на земляном полу стоял камин, такой широкий, что на его глиняных уступах, покрытых досками для сидения, помещалось четыре подростка, по два с обеих сторон, а в широком дымоходе виднелись поперечные железные решетки, на которых раскладывался сыр для копчения. Раньше этим занималась сноха деда, Кара, а теперь Жанос, которая жила одна. Она покупала ведро молока, делала сыр и коптила его по привычке. В камине на очажной цепи висел большой котел, которым пользовались в редкие дни, когда семья еще собиралась вместе. Но это происходило все реже.

Хозяйственные постройки стояли теперь полупустые, из живности оставалось только десятка полтора худосочных птиц. Патриархом птичьего двора был индюк реликтового возраста, загадочная история которого стала достоянием всего хабле (квартала), если не аула. В одну пятницу Дотнах, отец Жанос, выбрал его очередной жертвой и поймал было в руки, но тут на него налетели все птицы и принялись клевать и бить крыльями.

Опешивший старик отпустил индюка, зашел в дом и прочел молитву. С тех пор индюка никто не трогал, его почитали за птичьего святого. Он оставался жить и после смерти деда. Никто не мог объяснить причину этого странного долголетия, хотя индюк уже не передвигался и вконец ослеп. Жанос регулярно носила ему еду и питье.

За плетнем начинался сад, который мне казался в детстве лесом, и я знала, что здесь водится Мазитха — бог лесов в адыгском языческом пантеоне. Сад и сейчас был большим, ибо когда-то принадлежал трем братьям. Его площадь тем не менее была результатом нескольких урезаний (я знала о двух, в 20-м и 37-м годах). Когда-то здесь протекал глубокий ручей, прозрачная вода не нагревалась даже в жару. Он, извиваясь, пересекал все пространство старого сада. Нам он казался настоящей рекой, и все лето мы плескались в нем, ощущая голыми ногами его упругие холодные струи и мягкое землистое дно. Родители сделали для нас запруду, которая обрывалась импровизированным водопадом. Однажды запруда спасла бабушку, когда та случайно задела вилами гнездо диких пчел в коровнике. Пчелы набросились на нее, она побежала к ручью; длинная злобная эскадрилья понеслась следом. Бабушка с разгона нырнула в запруду с головой, и юбка накрыла ее сверху большим темным колоколом.

Каждый из нас твердо знал, что ручей обитаем; он искрился мириадами золотых чешуек, по нему пробегали легкие тени — это был наряд Псыгуаши (адыгское божество воды), которую мы без усталости высматривали в воде, и однажды на исходе одного летнего дня в текущих струях мелькнуло чье-то лицо, блеснула улыбка, и видение тотчас уплыло.

Неподвижный августовский жар одного из последних дней лета был оглашен истошным криком соседской девчонки, которая, трясая мокрыми кудряшками, клялась, что видела Псыхалыфа — адыгского демонического обитателя вод (в народе считают, что он затаскивает свои жертвы под воду), — он вцепился ей в ноги, так что они глубоко увязли в мягком дне, и она еле отбилась. Этот случай поумерил наш энтузиазм, и мы стали влезать в ручей с опаской. В конце сада он нырял в густые высокие заросли кукурузы — нежно-зеленые и золотистые, — мы собирали их, чтобы сделать волосы своим

самодельным куклам. Початки обламывались с влажным хрустом, когда срывали с них тугие нежные листья, плотно пеленавшие початок, пока не обнажалось тускло мерцающее сырое кукурузное тело с наливными янтарными и молочными зернами, облепленное со всех сторон живыми волосками. Початки варились в больших чанах и немедленно съедались, а оставшиеся кочерыжки высушивались для растопки. Кукурузное поле служило мне надежным укрытием от родителей, которые каждый раз разыскивали меня, чтобы увезти в город. Кроны грушевых деревьев были так высоки, что до их верхушек не доставали шесты, а влезать на такую высоту никто не решался; перезрелые тяжелые плоды падали, рассекая листву, с характерным тупым звуком. На нескольких деревьях в конце сада висели камни-обереги с дырочкой в центре, туда продевали проволоку и вешали на ветку. Здесь, под деревьями, еще сохранились две глубокие траншеи, куда прятались во время бомбежек, прикрывая голову подушкой. Летом мы спали под навесом, умудряясь размещаться вчетвером, а то и впятером в двух старых железных кроватях с никелированными спинками, прямо под ласточкиными гнездами, плотно упакованными молодым потомством, имеющим похвальную особенность содержать свое жилье в чистоте. Однако эта привычка маленьких соседей доставляла нам массу хлопот, так как требовала регулярной уборки. Однажды мы составили друг на друга пустые деревянные ящики и извлекли из гнезда ласточкины яйца, чтобы рассмотреть, — удивительно маленькие и хрупкие, и ласточки больше не прилетали к этому гнезду. “Теперь птенцы никогда не появятся, — сказал Дотнах, отец Жанос. — Влезть в гнездо — все равно что влезть без спроса в душу человека, она тоже может улететь, как ласточки из собственного гнезда, от своих будущих птенцов”. Я убежала в дальний конец сада, чтобы дать волю слезам.

По ночам, когда мои двоюродные братья и сестры шептались, соревнуясь в сочинительстве самой страшной истории, я становилась в центре двора, где надо мной повисал грандиозный звездный купол ярких мерцающих россыпей, среди которых я пыталась различить знакомые очертания Малой и Большой Медведицы, Венеры, Весов и Млечного пути.

В полнолуние, когда сияющий диск поднимался над черными силуэтами сада, раздавалась ружейная стрельба: мужчины палили по направлению невозмутимого янтарного светила, которое, по представлению, способно было прилипнуть к небу, и следующий день мог не наступить. Но пальба всегда давала благотворный результат, и следующий день наступал, и мы снова плескались в ручье. Наше купание затягивалось до глубокой осени, если она была погожей. Впрочем, вскоре появился кран, и ручей пересох, а с его исчезновением закончилось детство.

Жанос вставала затемно, замешивала тесто худыми руками с синими выпуклыми жилками (они перебегали между сухожилиями, когда я их трогала). Еще недавно она выгоняла корову, предварительно подоив, ставила огромный чан с закисающим молоком на маленький столик и через некоторое время осторожно выбирала из него творожистую массу, утрамбовывала ее, клала под пресс часа на два, предварительно посыпав солью, отрезала солидный ломоть и протягивала мне. Сыр хрустел на зубах, как сухой снег под ногами. Чаще всего она его коптила на дымоходных выступах камина. Он темнел, становился суше, плотнее, чуть горчил и отдавал дымком. Сыворотку Жанос выдерживала 3—4 дня с хорошо просушенным на солнце бараньим желудком, никому не доверяя тайнства собственной технологии. Вскоре корма подорожали так, что корову с телятком пришлось продать. Но Жанос регулярно покупала ведро цельного молока и продолжала делать сыр так же, как всегда, кормить оставшихся птиц и отдельно — старого индюка. После обеда она отправлялась в сад, огород и работала дотемна. Излишки урожая она продавала и на это жила, но большую часть присылала нам в город и раздавала соседям.

Сначала мама сокрушалась: ну зачем одинокой пожилой женщине так надрываться! Жанос слушала, поддакивала, но продолжала жить как жила. Тогда мама выходила из себя и заявляла ей прямо, что та ненормальная, что раньше времени превращает себя в старуху и теряет здоровье “от непосильного труда”. Я пыталась робко возражать, что Жануся обладает такой трудоспособностью, какой не знает традиционная научная норма, а сама Жанос виновато добавляла, что работает так же, как все ее соседки, ни больше ни меньше. За родительской работой на полторы ставки, нашей учебой— основной и побочной мы не вырывались в усадьбу так часто, как хотелось бы, и маму однажды осенило: продать усадьбу и купить на эти деньги благоустроенную квартиру в городе для Жанос. Но та категорически отказалась. Тогда мама с характерной всепобеждающей энергией нашла редкого покупателя, готового отдать за усадьбу целое состояние, привезла его с деньгами. Жанос расплакалась и выбежала из дома. Тогда ее оставили в покое, а заодно и усадьбу.

Среди прочих странностей у нее была еще одна: она без умолку говорила о том, что было. Каждый мой приезд сопровождался бесконечными воспоминаниями о тех временах, когда были еще живы ее родители и братья, закрома ломились от запасов, а сад плодоносил без опрыскивания и давал обильный урожай, были только свадьбы, рождения и джегу, и почти никто не умирал. Ее рассказы бесконечно кружили вокруг истории нашего рода, возвращались к одним и тем же фактам, дополнялись новыми деталями, но никогда не искажались. Она помнила бесчисленное множество случаев о каждом из ее семьи, в которых ориентировалась с удивительной ясностью, припоминая даты рождения и смерти, свадеб или болезней бесчисленной родни, друзей и приятелей. Она могла в деталях описать вагон, в который сел ее брат, которого на 25 лет сослали в Сибирь в 37-м, и пожелтевшую тонкую пачку писем, полученных от него, каждое из которых она помнила наизусть, повестки о гибели на фронте двух младших братьев и свидетельства о смерти родителей. Она хранила одежду, пахнущую нафталином: фашу бабушки — нереально узкую, ноговицы и папаху своего отца, брата моего деда, кинжал и газыри прадедушки, а также массу старых бесполезных вещей, назначение и предысторию которых я знала чаще всего весьма туманно.

Иногда она извлекала небольшую пачку бумаг, предмет своей тайной гордости: это были ее похвальные грамоты былых времен, когда Жанос еще работала на ткацкой фабрике “Горянка”. Она мало говорила об этой поре при других, но мне периодически скупно поверяла кое-какие детали, например, что на работу ежедневно приходилось вставать с первыми петухами, чтобы успеть в город к семи. Однажды она проснулась, оделась и перед выходом взглянула на часы, которые показывали три часа ночи. Рабочий день продолжался до пяти, с часовым перерывом на обед. Но, чтобы выполнить реальную норму, необходимо было работать дополнительных два часа. Она работала три, чтобы ее перевыполнить, так как с самого начала стала ударницей. Не то, чтобы ей совсем не льстили почетные атрибуты жизни лидера производства: Жанос первой посылали на курорт, о ней писали в газетах (которые она тоже сохранила), да и фото не сходило с доски почета. Но основной мотив был все-таки другой: она изобретала лучшие узоры для ковров и самый четкий рисунок был сделан ее руками. Ковры Жанос расценивали как произведения искусства и часто посылали на выставки, даже международные. Один такой ковер накануне отправки кто-то намеренно повредил, но Жанос с подругой вовремя заметили распушенные узлы и исправили брак, о котором промолчали и не сказали начальству, и ковер на выставку все-таки уехал. Отдых для работниц на фабрике не предусматривался, и когда начинала невыносимо ломить спина, они ложились прямо на пол. После четырнадцати лет такой работы Жанос серьезно заболела и получила инвалидность по заболеванию позвоночника и вибрационной болезни. Ей запретили заниматься прежним любимым делом. Но она не отчаялась: у нее было другое занятие — целительство, так как она была потомственной аза — знахаркой.

Среди множества вещей, принадлежавших ей, были те, что использовались для лечения больных: прохладная, изысканная раковина каури, оставляющая во мне ощущение неразгаданной тайны, — блашхэ, на тонком шнурке, которую она вешала на шею при ангилах и паратитах, и перламутровые бусины в форме улитки: более крупные, шаровидные — женские, более маленькие и компактные — мужские; благодаря им определялась болезнь. Здесь же, рядом с ними, покоился красный камень: Жанос откалывала кусок, растирала в порошок, смешивала с медом и смазывала воспаленный участок. Она вылечила экзему на руке у моего отца, прибегнув к одному народному способу: вытащила небольшой ореховый прутик из нашего плетня, сожгла его и теплую еще золу приложила к пораженному месту. Она проделала эту процедуру несколько раз, и отец вскоре забыл о своей болячке. Однако этими приспособлениями Жанос пользовалась все реже и лечила в основном стариков, которые верили их силе. Молодежь обращалась в поликлинику.

Благодаря Жанос и бабушке без конца воссоздавался могучий раскидистый каркас генеалогического древа; они без устали достраивали недостающие фрагменты его запутанной причудливой кроны. Жанос знала любую шероховатость, рубец или нарост темной шершавой коры, малейший изгиб кряжистого ствола, крепких, гибких ветвей. Она безо всякого порою вступления или перехода приступала к одной из несметных историй. Я только смутно улавливала их временную принадлежность, тщетно силясь восстановить точные даты, но вскоре осознала всю бесперспективность своих усилий. При всем разнообразии, эти истории были чем-то странно схожи, будто где-то на дне их проступал один и тот же неясный лаконичный узор, похожий на знак.

Основателем рода моей матери был маленький ловкий христианский миссионер, прибывший откуда-то из Греции. Но кончилось тем, что он женился на местной девушке и пустил корни в адыгскую почву. Юноша напоминал юркого подростка, и его прозвали Шаоцук. Он определял будущее по звездам и бобам, научился гадать на бараньей лопатке, а то порою залезал рукой в горячий чугунок с густым просом, раскатывал шарики, раскидывал их по треножнику и говорил, кто украл корову или отчего внезапно умер дед на окраине аула, и сколько выручат за поездку с яблоками в Цемез или в Армению с фасолью, а утром мог сказать, кто посетит дом вечером. Он умел заговаривать змей, знал змеиные тропы и гнезда. Ему был ведом звериный язык; и он загонял в лес диких зверей прочь от стойбищ, выводя ему только ведомый ритм на самшитовом пхачиче¹, а игрой на камыле² выманивал певчих птиц из лесной чащи.

¹ Пхачич — адыгский народный музыкальный инструмент, похожий на трещотку.

² Камыль — адыгский музыкальный инструмент, похожий на свирель.

На ночь Шаоцук читал свою старую толстую книгу и рассказывал многочисленные истории. Их слушали, запоминали и пересказывали, но не те, божественные, из его толстой книги, а другие, свои. Впрочем, некоторые события из его святой книги вскоре тоже делались своими и пересказывались на местный лад. Зато неясная книга снискала ему твердую репутацию человека ученого. Он знал все лекарственные растения в округе, делал из них снадобья и со временем стал великим аза, а слава его коснулась дальних пределов. Однажды он спас могущественного русского князя, вылечив его золотистником. Веснами, с прилетом кру (журавли), на ежегодной джигитовке древко нып (праздничное, чаще свадебное знамя) частенько оказывалось в крепких руках

проворного Шаоцука; он уносился с ним далеко вперед от палящих по стягу всадников, гольмадын (шелковый женский платок, его привязывали к древку) оказывался целехонек, без единой пробоины, — это означало, что год будет удачным; весь этот день и всю ночь напролет чествовали маленького смельчака.

За обычным людским обликом Шаоцук умел угадывать черных и белых джиннов. Однажды он поймал белого джинна в образе женщины, схватил за волосы, срезал прядь и спрятал ее в укромное место на чердаке, когда женщина уснула. Поэтому она и служила ему долгое время. Однажды белая колдунья пустилась на хитрость и попросила двенадцатилетнюю дочку Шаоцука: “Сделаю тебе куклу, если принесешь мою прядь”. Девочка поверила и принесла. Женщина толкнула ее в огромный чан, в котором варилось пшено для махсымы¹, и бросилась бежать, но во дворе ей преградили дорогу гуси; они набросились со всех сторон, не давая пройти. Тогда женщина-джинн закричала: “Пусть будут прокляты семьи этого рода, что держат гусей!” С тех пор никто не держал гусей, так как все хорошо знали: с джиннами шутки плохи. Сами джинны посещали многих из этого рода. Одна старушка с сияющими глазами пришла однажды к больной дочке Шаоцук Увжоко. “Долго ты будешь лежать? — спросила она. — Вставай, я покажу, что тебя вылечит”. И повела больную в степь. Когда встревоженные родители нашли девочку, та собирала какую-то луговую траву и никакой старушки с ней уже не было. “Она меня вылечит”, — сказала девочка, сделала себе дома снадобье и в течение месяца поправилась. С тех пор она стала аза, и слава ее перешагнула соседские пределы.

Дети Шаоцука унаследовали странные свойства отца: иногда все они видели один и тот же сон, который всегда сбывался; наутро же, не тратя понапрасну времени, только уточняли, кому, к примеру, идти предупреждать соседей, у которых, согласно сну, должна была отелиться корова к полудню. Все его потомки, проходя через предписанные Всевышним хитросплетения родовой кроны, воплощали с неясной закономерностью те или иные черты своего предка. Кто-то становился джегуако² и прославленным сказителем, кто-то — гадателем на бараньей лопатке и прорицателем, а другие — аза, что знали травы и снадобья, возвращали утраченные силы одним прикосновением и способны были обратить вспять стрелу смерти, пущенную рукой черного джинна.

В этом роду родился бегымбар (святой) по имени Лиуан. Он с детства был одержим поисками счастья и даже достиг вершины Ошхамахо (Эльбруса). Никто так и не узнал, нашел он там счастье или нет, но, прикоснувшись к солнцу, он научился летать и отогревал своим жарким теплом каждого, кто в нем нуждался. У него было двадцать семь дочерей от разных жен и один сын, рожденный сероглазой белокожей женщиной из соседнего племени тюрков, который тоже стал одержим поисками счастья.

Но чаще всего потомки Шаоцука рождались воинами. Эта усадьба принадлежала знаменитому конокраду, который отбивал табуны лошадей в степях Закубанья. Однажды он прослышал о необыкновенном белом жеребце из Моздока, которого держали в отдельной конюшне с крепкой охраной. Пшикан дождался, пока двое охранников уснули, лег между ними и начал раздвигать их своим телом в разные стороны. Каждый во сне думал на другого, и никто из них не проснулся. Пшикан натерся потом своей кобылы, которую почти без отдыха гнал из Кабарды до Моздока, поэтому жеребец сразу признал его и не издал ни звука. Пшикан кинул под ноги коня солому, чтобы не стучали копыта и бесшумно вывел его через узкий проход, образовавшийся между храпящими охранниками. Он легко вскочил на белого жеребца, подозвал свою вороную кобылку и к утреннему намазу уже был дома. Люди, которые видели Пшикана за вечерним намазом, смеялись над услышанной небылицей: ну как можно пригнать моздокского жеребца за время между вечерним и утренним намазом?

Однажды он поборол страх своего маленького внука, которому на кладбище привиделась альмасты³ в белых одеждах. “Пойдем, посмотрим, — сказал Пшикан внуку. — Если что — поймем ее”. Они обнаружили белый платок, забытый на ограде. Никого не бойся, — сказал дед, — если не боишься — значит, победил.

¹ Махсыма, или махсымэ — домашнее пиво, традиционно изготавливаемое из проса.

² Джегуако — народный певец.

³ Альмасты — женщина-леший.

Он прожил сто двенадцать лет, зимой ночевал на жестком ложе в нетопленной кунацкой и шел совершать омовение перед утренним намазом к проруби, прокладывая первую тропку по утреннему нетронутomu снегу, опережая самых образцовых невесток округи, что вставали еще затемно и спускались к реке за водой с первыми лучами солнца.

К нему порой забегали парни: “Пшикан! Там, за аулом, пасется чужой табун!” Старик спешно натягивал ноговицы, парни со смехом убегали, а он ругался им вслед, воинственно потрясая клюкой. У него были глаза победителя: веселые, гневные, озорные.

Пшикан с двумя младшими братьями владел обширным наделом земли, в центре которого лежал огромный валун. Никто толком не знал, как он оказался на этом месте. От аула до ближайшего горного кряжа пролегла лесостепь на полтора десятка миль; каждому было ясно, что, сорвавшись с горы, подобное расстояние валун преодолеть никак не мог, так же, впрочем, как и вырасти из-под земли. Женщины, которые всему находили свое объяснение, были уверены, что он свалился с неба. Вскоре в это вынуждены были поверить и мужчины, когда обнаружили удивительные и даже зловещие свойства громадного камня. Дети карабкались и скатывались с него, как с ледяной горы, отполировав поверхность, и носились вокруг резвыми стайками, женщины, раз коснувшись его рукой, благополучно разрешались от бремени, мужчины возвращались из военных походов живыми и здоровыми; между братьями и их женами царили мир и согласие. Но раз кто-то сообразил, что камень занимает много земли, да и торчит не к месту, и все, кроме детей и нескольких женщин, склонились к этому мнению. Решили пригнать всех аульских мулов, чтобы оттащить камень. Животных запрягли, стегали нещадно, но камень даже не шевельнулся. Вскоре на мулов напал мор, и они все передохли. Однако этому событию большого значения не придали. Тогда решили позвать взрывника. Тот обложил камень порохом в таком количестве, что обрушилась бы скала, но после оглушительного взрыва валун даже не шевельнулся. Зато наутро внезапно скончался взрывник. К камню больше никто не прикасался, пока живы были очевидцы этого странного происшествия; со временем оно превратилось в легенду, легенда — в сказку, в которую вскоре уже никто не верил. Однажды кто-то снова нашел камень неуместным, и, как встарь, мнение это нашло одобрение большинства. На этот раз пригласили двоих инженеров, единственных в округе, выучившихся не то в Стамбуле, не то в Каире, и трех опытных взрывников. Один инженер и взрывник заявили, что не станут губить священный камень, и если уж он так мешает, то можно вырыть огромную яму прямо у основания, величиной с него же, столкнуть его туда и засыпать землей. Но это будет большой участок тощей, неплодородной земли, что может вырасти наверху, если снизу — громадный валун? — возразил старейшина. Решили взрывать. Инженер и

взрывник отказались участвовать в этом деле и ушли. Оставшиеся устроили взрыв, потрясший всю округу, но камень только сдвинулся с места. Однако через некоторое время инженер и двое взрывников погибли один за другим при загадочных обстоятельствах. И снова жители присмирели от страха. Новое затишье продлилось до тех пор, пока, повинувшись одному и тому же дьявольскому плану, люди через некоторое время не разрушили валун, благодаря небывалой силе новой взрывчатки. Все, кто так или иначе был причастен к уничтожению камня, вскоре погибли или скоропостижно скончались в течение месяца после взрыва.

Теперь в конце нашего сада лежал небольшой камень, похожий издали на спящую собаку. Жанос говорила, что это осколок того валуна, который все еще охраняет наш дом, и не разрешала прикасаться к нему.

Порой я убегала в сад от докучливых Жанусиных разговоров и натыкалась на ограду, за которой начиналось родовое кладбище. “Как ты не боишься одна, рядом с покойниками?” — спрашивала я Жанос, и она неизменно отвечала: “Надо бояться не тех, кто за оградой, а тех, кто ходит мимо нее”.

Поздней осенью, когда вьюнки и плющ опадали с ограды, издали (из-за моей близорукости) старый редкий плетень, сотканный из тонких ореховых прутьев, значительно истончался, а порой казался совсем прозрачным, так что усадьба наша плавно переходила в кладбище, и наоборот. Из года в год моя тетка поливала побитую градом сухую яблоню, которую посадил когда-то ее отец. “Да не мучайся ты! Высохшее дерево никогда не оживет!” — говорила я с чувством. Она обещала мне не поливать его больше, а на следующий день поливала снова.

Она готовила только традиционные кабардинские блюда, подозреваю, именно потому, что ничего другого не умела, с удовольствием ела мои интернациональные разносолы, но никогда не бралась их запоминать. После бабушки только здесь реализовался мой скромный языковой практикум (если не считать спонтанного косноязычного общения с аульской родней). Я воплощала их особенно полно во время этих гастрономических раундов, пока, мучительно страдая приступами лингвистического дефицита, бессильно не увядала и не переходила на русский до новой вспышки энтузиазма. После русскоговорящего детского сада, такой же школы с необязательными факультативами по кабардинскому, с которых мы при случае безнаказанно сбегали, русскоговорящих учреждений, в которых работали мои родители и уже автоматически перешли на русский, после вузовской программы обучения на русском это был единственный островок неразбавленной родной речи, от которой после смерти моей бабушки я почти отвыкла.

Жанос регулярно делала махсыма, потому что его делала ее мать и бабушка, и давала его мне еще совсем легким, почти не бродившим, продолжая выдерживать его в десятилитровом стеклянном баллоне с притертой пробкой. Вскоре в нем обозначалось три слоя: верхний, тонкий, почти прозрачный, средний, более густой, и нижний, тяжелый, самый темный, цветом похожий на гречишный мед. Она давала мне только верхний, отборный, который в старину подносили пши (князьям) и уоркам (дворянам). Зимой она выставляла кувшин с напитком на холод, накаляла на огне дзасэ (шомпол) и погружала его в холодное махсыма, оно тихо закипало, пенилось и пузырилось, нагретый металлом слой оказывался вверху, так что верхней губой я ощущала тепло, а нижней — холод, с обжигающим острым вкусом газа.

Усадьба всегда казалась разной благодаря сезонным метаморфозам зеленой лужайки, привольно раскинувшейся посреди большого двора. Они начинались, когда однажды

ночью через незапертую калитку (редкая оплошность Жанос!) неслышно заползала весна и, притаившись где-то у плетня, чутко выжидала. Сначала она скромно заявляла о себе оплывшими проталинами на темном ноздреватом снегу; и вскоре через обнажившийся бурый тлен перегноя пробивались подснежники, источающие горький аромат сырости, такие ожившие снежинки, цветущий мемориал умирающей зимы. Но после весеннего солнцестояния, когда отмечали навашхаджед (новогодний адыгский праздник солнцестояния) и резали черную курицу (а позже — какую придется), весна входила в раж, опрокидывала солнце на нашу оттаявшую лужайку и расцвечивала ее всеми оттенками желтого. В тенистых влажных уголках двора, среди робкой, еще нежной травы, в тени старого орешника, подернутого зеленой дымкой, поднимались благоухающие островки первоцвета. Их длинные цветоножки склонялись с высоких бледных стеблей, оправдывая название ног шайтана. К ним вскоре присоединялись вызывающие, почти вульгарные одуванчики, с шафрановыми пушистыми головками, и глянцево-недотроги-лютики, легко роняющие свой цвет. В редкую весну появление одуванчиков предваряли островки мать-и-мачехи: каждый цветок — маленькое солнце. Причудливо мимикрировали низкорослые фиалки, от бледно- до ярко-фиолетового, почти фуксинового цвета, и эти, насыщенные, темных тонов, источали более интенсивный, глубокий аромат. Отвар их листьев Жанос смешивала с медом и давала при кашле, простуде с высокой температурой и расстройствах желудка, а настой всего растения, с корневищем, раздавала больным с заболеваниями почек и суставов. “Много не пить! — предупреждала она, — может быть рвота!” Между деревьями появлялись густые мелкие островки лазурных незабудок. Месяцем позже, в конце апреля — начале мае, когда в саду расцветали кизил, алыча, вишня и абрикос, к их ароматам примешивался запах ландыша, скромно белеющего в отдаленных уголках. Чуть позже к ландышу примешивался тонкий запах вороньего глаза, который скоро превращался в одинокую сизо-черную бусину, глянцево мерцающую на своем единственном ложе. Я знала от Жанос, что красные и черные ягоды этих цветов хороши при лечении сердечных застойных отеков, листья — при нервных расстройствах, а корневища — при отравлениях, так как они вызывают рвоту. В конце мая мы искали колокольчики; синие резные головки с крупными желтыми тычинками прятались чаще всего под кустами в конце сада. Их давали роженицам: “От них уходит боль и прибывает молоко”.

“Каждое растение и цветок призвано уничтожать какую-нибудь болезнь, только мы об этом почти ничего не ведаем, — говорила мне Жанос, — но если не знать меры, любое может погубить”. К доверчивым, солнечным чашечкам лютиков могла присоединиться медуница, являвшая на одном стебле весь спектр синего: ультрамарин, голубой, сиреневый, светло-лиловый, розовый. В середине мая появлялась душица; ее благоуханные стебли с темно-зелеными округлыми резными листьями были усеяны мелкими ярко-сиреневыми цветками. Мы ее растирали в ладонях, и она остро ипряно пахла мятой. В конце весны зацветали крупноплодные деревья, а позже — калина; в бело-розовой пене их цветения полоскались струи легкого прозрачного еще ветра, налетавшего порывами, пока воздух не тяжелел и не увязал в растительных испарениях с первыми приступами июньского зноя. Но я ждала начала июня, когда зацветет виноград: он был для меня царем ароматов и повелителем настроений. Я подолгу застывала в эйфорическом ступоре, передвигаясь лишь в поисках самой насыщенной струи колдовской амбры, которую наш черный жезумей (виноградник) щедро отпускал на волю из своего темного подземного царства. Виноградник густо оплетал плетень, образуя живую ограду на много десятков метров, и небольшую беседку — обычный деревянный прямоугольный каркас, который также густо оплетался виноградными лозами, превращаясь сверху в крышу беседки, а по бокам — в ее зеленые стены. Рядом с виноградником, касаясь его кронами, росли вишневые деревья, поэтому в вине, который выжимали и настаивали поздней осенью, всегда чувствовался вкус вишен. В июне же аромат цветущего виноградника

плыл над усадьбой, перебивая свежий сладковатый дух древних цветущих акаций, облепленных тысячами белоснежных цветков, похожих на мотыльков, безвольно повисших на тонких длинных ножках. Они с незапамятных времен плотной стеной отгораживали наш дом от центральной дороги и сворачивали на незаасфальтированное шоссе, ведущее по направлению нашей калитки; их высокие кроны смыкались, образуя длинную арку, благоухающую белым цветом в начале лета. Мы увлеченно поедали приторную сладковатую завязь, оставляя пробоины в выстланной ветхим шифером крыше навеса, с которого обдирали белые цветущие гроздья.

В начале лета двор покрывался ромашками, васильками и клевером — сиреневым и белым, повиликой и мятой, на плетень заползали, густо оплетая, вездесущие вертлявые вьюнки, они дружно поворачивали свои бледно-розовые изящные головки вслед за солнцем и с закатом сникали — увядали, плотно смыкая сплошные нежные чашечки в тонкие сморщенные трубочки, чтобы наутро снова доверчиво раскрыться навстречу первым лучам. В саду расцветал ядовитый молочай — шейтанбыдз, привлекая наивных пчел своими желто-зелеными невзрачными соцветиями; Жанос выжимала из него ядреный млечный сок, “грудное молоко самого шайтана”, которое способно было вывести не только пятна и веснушки на коже, но даже мозоли. К середине лета, когда мощные ветвистые стебли конского щавеля окрашивались в ржавый цвет, она собирала его вдоль проселочных дорог и, слегка просушив, сворачивала и клала в бумажные мешки. Этой травой Жанос вылечивала любые расстройства желудка, даже дизентерию. Я знала еще одну траву на толстой темно-фиолетовой, почти черной цветоножке, поросшей с разных сторон маленькими фиолетовыми цветочками. Жанос называла ее по-кумыкски тутты, высушивала, опрокинув вниз соцветиями, и варила из нее необыкновенно ароматный калмыцкий чай, нежно любимый всеми.

Ее смуглые жилистые руки быстро мелькали между грядками, когда она ловко освобождала от сорняков свои насаждения, не позволяя погибнуть ни одному из них. Даже в кучке сорняков она умудрялась увидеть полезные растения и извлекала их с трогательной заботой: лопухи, из которых она делала настои от кашля, или обычный водяной перец, что останавливал кровотечение и восстанавливал кровь, подорожник и полевой хвощ (он казался мне выходцем какой-нибудь мезозойской эры), любящий влагу и бегущий ближе к нашему ручью, — его Жанос добавляла в состав трав, который готовился ею для почечных больных. Не боясь обжечься, она извлекала даже крапиву, которую давала анемичным детям и взрослым, при гастритах и бог знает при чем еще.

Тем временем мы неумеренно вкушали щедрые дары раннего лета: вишню Майку, невинно розовеющую в своем младенчестве, не оставляя ей возможности достигнуть подобающей зрелости, зеленые, вяжущие плоды продолговатой сливы, абрикоса и округлой сочной алычи, из которой позже Жанос делала совершенно плоскую пастилу — маразей, темно-янтарную, кисло-сладкую, и ходили с сизыми, устрашающего цвета пальцами и ртами от съеденного черного тутовника. Я пружинила на гибких ветвях черешни, усыпанной тугими темно-бордовыми плодами; некоторые из них не выдерживали и лопались под натиском распирающего их сока, мы цепляли по две соединенные ягоды на уши, но вскоре съедали и эти серьги. С тем же азартом мы обдирали плоды шпанки, подолгу раскачиваясь на ее вершине, или склевывали их прямо с ветки, как птицы, немилосердно обогащая свои светлые платья; и к середине лета лакомились янтарной душистой мякотью абрикосов, еще теплых от горячего солнца.

Наши веселые детские руки являли чудеса скорости в плетении разноцветных венков, ожерелий и браслетов из шафрановых одуванчиков, лазурных васильков, белых ромашек, скрепленных гибкими прочными стеблями невзрачной кашки; мы цепляли на грудь живые

сиреневые броши из распустившихся ершистых бутонов липучего репейника, пахнущего полынью, и до последней клеточки тела ощущали себя продолжением нашего цветочного царства.

Я подолгу наблюдала за жизнью другого мира, который приходил к пику своей кульминации у меня на глазах: за шевелением пестрых яиц в перепелиных гнездах, которые вились на акациях, посаженных Пшимахо, средним братом моего деда, в самом конце сада, обозначая его границу с соседским, за сосредоточенным тяжеловесным полетом пчел и шмелей, басовито и размеренно жужжащих, их неспешным топтанием на месте в самой сердцевине цветка, на лоне нежного невинного пестика и тонких тычинок, с желтыми головками легкой пыльцы, которой они щедро одаривали каждого желающего. Мой охотничий взгляд азартно внедрялся в густые кущи атласной травы, выслеживая целенаправленную суету муравьев и бесшумные прыжки кузнечиков, похожих на внезапно ожившие летучие листья травы, а позже, с наступлением сумерек, раздавались неумолчные бесстрастные мелодии сверчков, исполняемые на одной ноте. Я могла неопределенно долго томиться в жаркой засаде, наблюдая узорчатую, неподвижную спину дремлющей ящерицы, слившейся с зеленью, и сбивалась с ног, тщетно пытаясь нагнать ее. Однажды под яблоневым листом я обнаружила неприметную куколку бабочки — адмирала. Я ощутила себя темным сгустком мучительной боли, схваченной со всех сторон жестким панцирем кокона, когда из червя с молчаливой неукротимостью пробиваются крошечные сухие колышки крыльев, — сложенные китайские веера, ниточки конечностей, необъятные фасеточные глаза, и все это еще в дремотной, индифферентной неподвижности, — странное уродливое существо, похожее на выцветший осенний листок, скомканный и забытый прошлогодним ветром. Я представляла себе, как это нечто (аморфная пролонгированная трансформация боли, или боль, не обретшая окончательной формы) жадно сосет черную пустоту и неотвратимо набирает свою хрупкую мощь, пока, вздрогнув от неслышного набата (час настал!), не начинает неуклюже двигаться к слепящему, изъеденному отверстию кокона и, тяжело выпростав свое тело, впервые раздвигает робкие еще крылья, а потом, задохнувшись и ослепнув, уносится первым порывом ветра в новорожденное пространство мира.

Меня увлекали ввысь стайки птиц, срывающиеся с наших деревьев, и серые прозрачные тучки мошкары и комарья, открывая мне безграничную жизнь неба, в которой уже давно растворилась моя душа, еще не воплощенная звуками известной песни. Я различала в воде родника, там, где в зарослях замедлялся его ход, прозрачные шарики икринок, ощущая в себе их первые биения жизни, и наблюдала бесконечную игру неумолимых головастика на берегу полноводной реки, которая протекала вдоль нашего села, слушала страстное пение изумрудных лягушек; мой взгляд проникал глубже, к цитадели водной жизни, где искрилась мелкая рыбешка, и на самом дне притаилась моя древняя мысль, что приплыла с противоположного берега текучих времен, еще не одетая в рваное платье слов.

Иногда случались безветренные дни, когда ветер застывал, захваченный врасплох кольцом гор, и, сгущаясь, повисал клочьями на ветвях деревьев, а позже превращался в сизую дымку. Еще недавно он был напоен ароматами предгорий, которые, едва пахнув, улетали, оставляя ощущение недосыгаемости и светлой тоски. Теперь же влажный неподвижный воздух, тяжелея и изнемогая, пропитывал меня, я задыхалась и заперлась дома. Его комнаты ткали чуткую ажурную паутину небывалой тишины, в которой путался и беспомощно затихал любой звук. Казалось, ветер сворачивался и залегал где-то у корней деревьев, растворяясь в глубокой летаргии. Прозрачные облака застывали в горячем небе, застигнутые внезапным сном, но вскоре таяли, и приходил зной. Он сжигал листву и траву, и от нашего ручья оставалась сырая лужица. По улицам ходила, поднимая светлую

пыль, босоногая ватага детей, которая носила на высоком шесте самодельную куклу Ханцигуашу и громко распевала:

Мы носим Ханцигуашу,

Аллах, пошли нам дождь!

Они заходили в каждый дом, и им сыпали в корзину конфеты, печенье, клали домашние яйца¹. В эти моменты я тосковала по свежему бризу океана, который вобрал в себя все неведомые ароматы планеты в их диком причудливом сочетании и вливался в мои открытые легкие щедрыми струями, когда я стояла на хмуром берегу Атлантического океана Франции, превратившись в одну ненасытную воронку. Я узнала тогда, что он мог сбить с ног, но чувствовала в себе силы устоять и принять его.

¹ Распространенный народный обряд, отголосок язычества, который бытует и поныне.

Но однажды утром просыпался долгожданный ветер, разгоняя удушливую тяжесть липкого зноя, и под его неукротимым напором распахивались объятия просветленного горизонта: на юго-востоке близкие зеленые холмы за рекой обозначались необыкновенно четко, а на северо-западе рождалась снежно-белая гряда гор. Я близоруко щурилась, и, обретая объем, горы раскрывались другой стороной, скрытой светло-серой тенью, которая сливалась с голубой дымкой неба. Ветер играл кронами деревьев, перебирал их, словно четки, смешивал времена. Я оказывалась пойманной в западню безвременья, оно опутывало меня тугой нескончаемой спиралью, пеленая в плотный кокон. Меня охватывало странное оцепенение, я ощущала себя каждой из тысяч своих предшественниц, живших до меня, начиная с самого рассвета времен: и внезапно моя средневековая фаша (национальный костюм) и пха — вакэ — высокие деревянные башмаки, которые надевали адыгские женщины знатных сословий, оказывались мне так же впору, как и нынешний европейский наряд: медленная смена лиц, в слепом, черном омуте неизбывной боли бесконечных превращений, таинственные безмолвные скитания и изменения духа, его медленный безудержный рост в бескрайней череде воплощений. Ветер шумно волновал листву, но вскоре приносил спасительный дождь.

Поздней осенью напелз туман, он отрезал нашу усадьбу от внешнего мира, заглушал звуки, будто окружающие предметы слизывало гигантское животное, или сама земля становилась мифическим чудовищем, которое вдохнуло и забыло выдохнуть видимое пространство. Усадьба парила в призрачном небытие и напоминая летающий остров Лапуту Д.Свифта.

В тот день я решила заночевать в гошпац¹, сказала об этом Жанос между делом, направляясь к старому дому.

¹ Гошпац — комната вне дома, летний флигель типа времянки.

Но Жанос запротестовала: зачем ночевать одной, будто мало места в большом доме. Но я сослалась на слишком мягкую постель и теплое одеяло, это не по мне, добавила я. Жанос больше спорить не стала, сообразив, как видно, что бесполезно. Я крепко заснула и проснулась от какого-то бормотания. В углу напротив сидел старичок на старом низеньком сундуке и, отвернувшись к окну, что-то читал. Он держал на коленях увесистую, потертую книгу. Свет скупо сочился в окно, и старик больше походил на силуэт, но я различила старую поношенную одежду странной формы, ноговицы и невысокую шапку на голове. Я больно ущипнула себя за руку (не сплю) и резко села на кровати. “Вы кто?” — еле выдавила я из себя, натягивая одеяло до подбородка. Он не прореагировал. “Да кто вы такой? — закричала я, забыв о вежливости. — И что вы здесь делаете?” Он продолжал бубнить.

“Я пришел предупредить их, — бормотал он, — они не слушали: “Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка... Бурный ветер шел с севера, великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него... Когда они шли, шли на четыре свои стороны. Во время шествия не оборачивались...”

А ободья их — высоки и страшны были они; ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они; куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались с ними, ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли и они; и когда те стояли, стояли и они; и когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах”.

“Что он говорит, что читает? — лихорадочно думала я, кое-как овладев собой, — Похоже на Святое Писание...”

“Возлюбили они себя сильнее Господа, — скрипуче, еле слышно говорил старичок себе под нос, — поэтому не слышали его предостережения, и его слова, и его законы, и рассеял их Яхве оттуда по всей земле”.

Где-то запел петух. Старичок вздрогнул и засуетился, захлопнул полуистлевший талмуд и неслышно прошел к двери, приотворил ее и скрылся. Я на ватных ногах двинулась следом, выглянула во двор. Старик исчез. Я бросилась к калитке. Она с ночи была заперта на ключ. Я зашла в дом. В моей голове кружилась фраза, многократно повторяемая многими: основоположником рода был маленький миссионер из Греции. Но только теперь, кажется, я начинала понимать, что миссия его заключалась не в насаждении христианства. Боюсь, она так и осталась непонятой. Мой здравый смысл, основанный на прочном фундаменте советского материалистического образования и такого же родительского воспитания, дал внушительную трещину и теперь разлетался на осколки под прессом необъяснимых фантастических явлений.

Жанос уже встала, но была сонной.

— Я его видела, — сказала я, не имея возможности объяснить. Но этого не понадобилось: с Жанос сразу слетел сон, и она прямо взглянула на меня голубыми всезнающими глазами:

— Он по-прежнему такой же худой?— спросила она.

— Да.

Жанос глубоко вздохнула и с какой-то болезненной жалостью коснулась моей щеки:

— Надо пожарить и раздать лакумы. — И мы направились к кухне.

— Жанос, что это за сундучок, на котором он сидел? — спросила я.

Она вздрогнула и напряглась:

— Какой сундучок? — тон ее был ненатурален.

— Ты знаешь какой: железный, окованный голубым.

— От него никакого проку.

— Почему же ты его не выбросишь?

Жанос яростно месила тесто:

— Ну, на нем можно сидеть.

Я пристально следила за ней.

— А можно и выкинуть, — сказала она.

— Или сжечь, — добавила я раздраженно.

— Сжечь нельзя, он железный, — возразила Жанос.

— А ключ от него есть?

— Нет. Давно потерян. Да и лежит там ненужное барахло.

Однако чудеса на этом не кончились. Жанос прибежала из сада. Ее голубые глаза сияли и казались еще светлее на худом обветренном лице: “Пойдем, покажу”, — и потащила меня в сад. На высохшей яблоне, которую она без усталости поливала вот уже который год, появились три бело-розовых цветочка.

С той памятной ночи я больше не испытывала желания ночевать в гошпац, поэтому не знаю, приходил ли еще таинственный старичок. Мне было бы легче, если бы Жанос удивилась, признав абсурдность и призрачность моего ночного видения. Тогда констатация шизофрении, сама по себе неутешительная, внесла бы какую-то определенность в эту ситуацию. Жанос выходила из курятника, держа в плетеной корзине свежие куриные яйца. И тут в сладкой дреме моего подсознания обозначилось первое, робкое еще движение: кажется, впервые за долгое время я твердо знала, что делать и где искать.

Жанос отправилась в город. Я этого ждала: не мешкая, открыла шкаф, и меня обдало нафталиновой волной. Стараясь ничего не менять местами, я целенаправленно искала ключ от сундучка. Несколько ключей не подошло. Час поисков так и не дал результатов. Наконец я обратила внимание на маленький овальный предмет, завернутый в полинявшую ткань. Я развернула тряпицу и обнаружила прелестную инкрустированную металлическую шкатулку в форме яйца. Она была закрыта. Недолго думая, я залезла в

отверстие подвернувшись под руку гвоздиком, и крышка, пружиня, распахнулась. В шкатулке лежали золотые безделушки и небольшой ключ.

Вернувшись из города Жанос, увидев меня над открытым сундуком, запричитала: “Что за проклятие на нашу голову! И этого ребенка не уберегла! Почему я не выбросила этот проклятый сундук в реку!” — “Ничего ведь не случилось, Жануся! Тут только синяя папка с какими-то записями и бумагами!” — “Что ты понимаешь! Здесь сидит джинн, который уничтожает всех, кого ни коснется! Он разрушительнее урагана: убил почти всех из нашей семьи, и последней была твоя мать”.

Я развязала старую папку и открыла первую страницу. Это был пожелтевший лист бумаги. “Тамга¹ рода Шаоцуковых”, — было выведено сверху стремительным ясным почерком.

¹ Тамга — родовой знак, тавро. Им метили своих коней в табунах и т.д.

Внизу по центру стоял родовой знак, напоминающий символ параграфа. Я с изумлением вглядывалась в знакомый узор, простой и сложный одновременно; все школьные и студенческие тетради были испещрены им. Каким-то чудом он выплыл из небытия забвения фрагментом бесконечной цепи: гибкая пластика латинского S, тайна, заключенная в двух разнонаправленных полукружиях, спаянных единством. Звенья обрывались, но странным образом перетекали одно в другое, и вместе с тем, независимые друг от друга, бесконечно повторяли один рисунок, снова и снова отражая переплетения судеб безымянных бесчисленных поколений одного из моих родов; они причудливо изгибались, но были едины в заданном направлении. Я не могла себе объяснить, как стало возможным, что, не зная, я угадала свою тамгу. Моя независимо движущаяся рука бездумно чертила на полях школьных и студенческих тетрадей легкие знаки, которые, вновь и вновь соединяясь, превращались в некое подобие тайнописи, через которую вселенная безмолвно диктует свой текст, вода рукой посвящаемых.

Внезапно в моем сознании обозначилось определенное, почти физическое движение: я ощутила, как с неведомого дна памяти всплывают обрывочные фрагменты полузабытой информации, как останки давно затонувшей флотилии, поднятой со дна океана. Несвязанные фрагменты информации, воспринятой в разное время, складывались теперь сами собой, как звенья внезапно обнаруженной родовой тамги, во что-то завершенное, похожее на мозаичный рисунок.

Это были и спокойные сдержанные рассказы бабушки, которые мне казались просто сказками о людях, и эмоциональные завораживающие картины рассказов Жанос, больше напоминающие фантазмагии, и обрывки разговоров многочисленной родни, которые я тоже считала скорее досужими разговорами, результатом расшатанных нервов. Все эти разрозненные воспоминания пребывали во мне, как выяснилось, в глубокой спячке. Теперь они, разбуженные, оживали и, спрессованные временем, плотно закручивались в одну длинную спираль, как формула молекулы ДНК.

Я вспомнила о далеких предках бабушки, которые погибли совсем юными на правом берегу Малки; тогда в 1779 году в течение одного сражения Кабарда лишилась почти всех молодых аристократов, что шли в авангарде войска. Теперь в этом месте

вырастал высокий рукотворный каменный курган, и многие наши родственники со стороны бабушки ежегодно ездили туда, наряду с другими потомками погибших.

Вспомнила услышанный рассказ от какой-то из своих теток о двух близнецах-узденях из отряда Хаджи –Берзегга Герандука, что были убиты в одном бою; рассказы бабушки о том, что какие-то властные люди забирали одних только молодых уорков, и они проезжали на своих белых, вороных и буланых конях мимо затемненных всевидящих окон домов, отразившись в них тонкими и прямыми, как струны, в праздничных черкесках. Никто не проронил ни слова, и тишина была пронизана прозрачной дымкой обреченности, поэтому все знали, что они проезжают в последний раз.

Вспомнила рассказ о близком соседе в ауле бабушки, который сдал все свое имущество и стада в 1917-м, а к 1937-му снова был богат, так как работал со всей своей семьей с утра до ночи, и в этом же году в цветущем колхозном саду был расстрелян его 87-летний отец, а он с двумя братьями сослан в Сибирь, откуда вернулся только средний.

Вспомнила о другом, у которого была тысяча баранов, и когда один околел, он купил недостающего на рынке. Его младший брат, франт, правил собственным фаэтоном, запряженным парой гнедых. Он дарил девушкам веера, расшитые его сестрами нарукавники, футляры для ножниц или для часов. Эта семья приютила мальчика — сироту, который вместе со всеми работал, ел и спал. Но мальчика принудили написать, что хозяева использовали его батрацкий труд. Братьев вывезли в товарняке вместе со скотом, и никто из них не вернулся. Вдову старшего с тремя дочерьми раскулачивали пять раз; последний раз снесли крышу и сорвали стеклярусные бусы с шеи пятилетней девочки, и зимой на всех в доме падал снег; и средняя девочка заболела и умирала на единственной оставшейся скамейке. Под скамейкой сидел теленок, которого она гладила. Но за теленком приехали красные в бричке, и мать умоляла: “я сама приведу вам теленка после смерти дочки, это все, что ей осталось”, но они все-таки увели и теленка. А две другие девочки целым днями сидели у ручья, который пересекал соседний плодоносящий сад, и просили: “Аллах! Пришли нам одно яблочко!”

Вспомнила о каком -то дальнем родственнике моего отца, у которого три раза забирали “лишнюю землю”, — гектар прекрасного сада; его вырубili и пустили под колхозное поле, и оно вскоре перестало плодоносить.

К нам часто приходила мамина подруга, преподавательница университета, приехавшая из Средней Азии, улыбчивая, застенчивая. Я хорошо помнила ее рассказы о жизни в ссылке. В детстве она была очень худой — не могла адаптироваться к жаркому климату и почти ничего не ела. Летом приходилось бегать по улицам бегом, так как обуви не было, а на пятидесятиградусной жаре горели подошвы. Их подкармливал медом ссыльный пожилой кабардинец, статный, подтянутый красавец, из Мамишевых. Его назначили пасечником, и он должен был отчитываться за каждый грамм меда. Ссыльный князь крупно рисковал, когда после каждой первой выжимки собирал соседских детей из репрессированных, наливал им в большой плоский таз мед в палец толщиной, и дети черпали его своими деревянными ложками.

Она рассказывала, что испытывала невыразимые мучения, когда ей расчесывали длинные густые волосы, которые сначала мыли прогретой на горячем солнце сывороткой, а потом хорошо смазывали керосином, чтобы не завелись вши, — мать и бабушки слушать не желали, чтобы их отрезать. Когда девочка очередной раз плакала, не желая расчесываться, мать пообещала в обмен на болезненную процедуру какой-то сюрприз. Им оказалась книга родного кабардинского поэта, которую мать каким-то чудом раздобыла в местной

библиотеке. Автором оказался отец моей матери, А. Шаоцуков. Малышка на следующий же день принесла книгу в класс и сказала, что у кабардинцев тоже есть свои поэты. Вскоре все узбекские дети знали наизусть переведенные на русский кабардинские стихи.

Ее бабушка, из Лафишевых, жила одной мечтой — умереть на родине. Однажды, решившись, она нелегально выехала, — отправилась на перекладных на Кавказ. Паспорта репрессированным не выдавали, чтобы они до конца положенного срока находились на спец. поселении. До Кабарды она добралась благополучно, но, уже находясь дома, вынуждена была скрываться от властей и попеременно жила у своих родственников: в Нальчике, Баксане, Псыхурее. Но кто-то донес в милицию, что там-то и там-то живет старушка без документов. Бабушку арестовали и посадили, а через месяц под конвоем отправили с семьей назад в Узбекистан. Там же она вскоре умерла и была похоронена.

Вспомнила рассказ о другом, у которого расстреляли отца, владельца железнодорожной ветки, и конфисковали имущество. Вся его семья погибла у него на глазах, когда он наблюдал за расстрелом из-за дерева, и успел незамеченным скрыться в горах. На протяжении всей жизни он хвалил вождей в период их правления и ругал, когда они умирали. Он так привык к страху, что продолжал бояться по привычке, даже когда ему уже реально ничего не угрожало.

Бабушка рассказала мне о судьбе некоторых женщин своего и окрестных аулов. Позже, когда я выросла, рассказы были дополнены страшными подробностями кем-то из ее родственников. Всех женщин княжеских и уоркских родов в какой-то день согнали к одному сараю на самой окраине аула, в котором их насиловали, а потом ставили к краю предварительно вырытой ямы и расстреливали. Из них уцелела одна, она приглянулась офицеру и позже стала его женой, за что он был разжалован и с позором изгнан из рядов Красной Армии. Его самого сослали в 37-м, и он не вернулся. Вскоре ей помогли нелегально эмигрировать во Францию, где вскоре она стала процветать: открыла доходный салон по пошиву модной одежды. Однако жестокая ностальгия по родине заставила ее порвать с благополучным существованием и вернуться на Северный Кавказ под чужим именем. Вдовствующая княгиня повторно вышла замуж после войны, за потомка рода Гелястановых, который тоже скрывался под вымышленным именем. Но год спустя, в 1948-м ее второго мужа разоблачили и арестовали, а впоследствии расстреляли. Она умерла на родине, в нищете.

Сестра моей бабушки, сохранившая редкую память, назвала однажды всех братьев одного родственного рода Коновых, которых арестовали и расстреляли с сыновьями в течение нескольких дней: Бачмырза, Глекеч, Дзадзу, Беслан, Тепсаруко, Хажмуса, Алихан. Двух братьев из рода Муртазовых и их сыновей расстреляли в один день. Несовершеннолетним мальчикам из княжеских семей приписывали года, доводя возраст до нужного предела, и отправляли в лагерь. Многих из них скрывали на чердаках и в подвалах соседи, а позже помогали бежать за пределы республики и страны. Дочери княжеских родов, оставшиеся на родине, меняли фамилии и так же, как все другие женщины, весь световой день отработывали свои трудодни за 37 рублей в месяц. Так же, как другие матери, они рыли для своих детей глубокие ямы, чтобы те не расползались, застилали их соломой и оставляли малышей и грудных детей в одиночестве, пока сами проходили мили, пропалывая колхозные грядки. Одна мать оставила в яме маленькую дочку, а вечером нашла ее, онемевшую от ужаса; прошло время, но девочка так и не заговорила. Так было уничтожено большинство княжеских и уоркских родов, почти все их фамилии исчезли. Лишь некоторые потомки были разбросаны в Средней Азии, Закавказье, северной периферии России, и небольшая часть проживала за границей.

Я вспомнила чей-то рассказ о двух дальних родственниках бабушки, что чудом уцелели на родине. Один из них, семнадцатилетний, находился в тюрьме за конокрадство отца, когда были арестованы и расстреляны все члены его семьи. Теперь он доживал свои дни в самом отдаленном районе города. Другой, из рода Наурузовых, разругался с властями и не получил обещанной квартиры. Он прожил всю жизнь в маленькой комнате молодежного общежития.

Вспомнила недавнюю научную конференцию в Абхазии, во время которой я познакомилась с известным ученым из Москвы — пожилой женщиной — даргинкой. Она единственная пустилась исследовать древние руины резиденции абхазских царей X века в Лыхны, с молодой энергией увлекающая меня за собой. Поднимаясь по широкой парадной лестнице в конференц-зал, я увидела ее, неспешно шествующую и прямую, и смогла оценить ее стиль, равнозначный непреходящему, острому еще вкусу к жизни, к женской жизни: черная шелковая юбка в широкую складку с разрезом, стройные ноги обуты в лакированные черные босоножки на шпильке. В короткой частной беседе я узнала, что два аристократических дагестанских рода, отцовский и материнский, из которых она происходила, были уничтожены, кроме нее. Она сказала об этом скупно, почти сухо, будто все еще иссушала собственную неизбывную боль.

Тогда же я познакомилась с необыкновенно милым, интеллигентным человеком, потомком репрессированных кумыкских князей, мать которого оказалась ссыльной черкешенкой, депортированной в 30-е годы в Дагестан. Он поведал о воспоминаниях своей матери, когда ее, сонную маленькую девочку, спешно волокли ночью по снегу к ожидавшей повозке, на которую погрузили лишь необходимый скарб, и она впервые увидела, как плакал отец, которого вскоре расстреляли.

Я вспомнила брата моего деда, погибшего во Вторую мировую, — дед так походил на его фотографии, — сухопарого, с ясными голубыми глазами и белозубой улыбкой. После немецкого концлагеря, из которого он бежал, его выслали в Сибирь на двадцать пять лет. Он вернулся в срок и привез жену — сибирячку, спасшую его от голодной смерти.

Я почти ничего не знала о своем деде — коммунисте, который погиб на фронте, оставив жену и семерых детей, из которых старшим был мой отец. По ночам он с другими соседскими подростками воровал кукурузу и арбузы на колхозных полях. Это была смертельная охота, — сторожа стреляли на поражение, так отец потерял двух своих друзей, но благодаря ему семья выжила в послевоенный голод. Отец, немногословный и сдержанный, лишь однажды рассказал нам, увидев, что мы с братом оставляем недоеденный хлеб, как он студентом терял сознание от голода и едва не умер в послевоенном Ленинграде, когда у него украли карточки на хлеб. Ежедневно он переправлялся через замерзшую Неву в парусиновых туфлях, и заимел первый в своей жизни костюм перед выпускными экзаменами, когда его премировали за отличную учебу. Мать и младшие сестры отца по полдня собирали камыши, стоя по пояс в местном болотце, к их ногам присасывались голодные пиявки. Камыш сушили, разминали и плели корзины, которые за бесценок продавала на рынке бабушка, черноволосая, смуглая, иронских голубых кровей, с изящными руками, красоту которых не испортили долгие страшные годы послевоенного вдовства. Половину вырученных денег она отсылала папе в Ленинград, выполняя последнюю волю погибшего мужа: выучить старшего сына, чего бы ей это ни стоило.

И другая бабушка: длинная шея, прозрачная белая кожа, серые глаза, высокие брови (я понимала, почему из-за нее стрелялись на дуэли два кабардинца-белогвардейца), но такая же прямая и высокая, как и папина мать, будто до конца жизни они так и не сняли

жесткого девического корсета; раннее вдовство с четырьмя маленькими детьми в голодном послевоенном городе, где ее лишили талонов как вдову военнопленного и где не нашлось ни клочка земли для маленького приусадебного хозяйства, за счет которого выживал народ.

Вспомнила свою недавнюю поездку на море в Лазаревское. Мы поселились в одном из маленьких домиков. Отец, глядя на вечернее море, неожиданно произнес, взглянув на меня: “Где-то здесь жили мои предки, абадзехи”. Я спросила, почему же он не знает никого из них. “Они теперь в Турции, наша фамилия образовала там целое хабле. Только один мой прадед бежал в Кабарду. Поэтому нас так мало”. Мои дальнейшие горячие расспросы ни к чему не привели. Похоже, отец и сам толком ничего не знал. Тем же вечером наша хозяйка, с которой я подружилась, веселая и разбитная, жаловалась мне на “бесчинства местных дикарей”, которые вот уже пятый раз сносят памятник генералу Лазареву, герою войны, в честь которого исконное адыгское название местности было заменено на Лазаревское. “И ведь надо же, делают это по ночам, как воры!” — добавила она возмущенно. Старик-сосед, неразговорчивый и угрюмый, который зашел по делу, сказал: “Этот “герой” уничтожил тринадцать шапсугских аулов. Я бы сделал не так: я снес бы памятник днем, чтобы все видели, особенно власти”.

Вспомнила последнюю поездку в Москву, когда в толчее вагона мой взгляд остановился на обычной, набившей оскомину картине: группа усталых женщин с тюками и баулами. Я ни минуты не сомневалась, что это — свои. В черном пространстве разверзающейся пустоты тоннеля, навстречу которой мы с грохотом неслись, они не проронили ни звука. Мы миновали мою и еще две последующие станции. И все-таки я не ошиблась: они заговорили по-кабардински.

Я думала о предмете моих постоянных мучительных исканий в запутанном лабиринте с идиотской вывеской “Кто есть я?” Чем все-таки была эта моя застарелая отчужденность, которая нигде не давала чувствовать себя дома? В кабардинских аулах я была своей и одновременно не своей из-за слабого знания языка и еще чего-то неопределимого, но во мне еще оставалась большая часть меня, которая не умещалась в эти рамки.

Именно поэтому мне иногда казалось, что адыгство меня стесняет, чтобы я могла постоянно выносить это тесное фашэ, — оно было на два-три размера меньше нужного и трещало по швам. В такие моменты мне не хватало вольной греческой тоги. Но проходило время, и меня с новой силой влекло к неповторимому терпкому аромату адыгского духа, который никогда не блестит, — только мерцает.

В Москве я чувствовала себя как рыба в воде, но и здесь большая моя часть оказывалась не востребовавшейся и составляла мою невольную тайну. Она же весьма интриговала моего славного московского приятеля Гришу, и он говорил: “Не становись, как все. Ты слишком другая”. Я смеялась: “Именно поэтому мне это и не угрожает”. В отличие от Москвы, моя “вненациональная” часть в рафинированно-адыгской среде вызывала скорее вежливое отчуждение.

...Передо мной лежала общая тетрадь в коричневом переплете, принадлежавшая Теун, младшей сестре моей матери.

Теун

С детства я знала, что у нее было слабое сердце, и она рано умерла. Помню фразы, вскользь оброненные матерью, когда после похорон соседа она нашла ее, горько рыдающую в углу спальни.

— Что с тобой? — спросила испуганная мама.

— Знаешь, я сегодня так позавидовала покойному К.: он похоронен. А у нашего отца даже могилы не осталось!

Но однажды (я уже была подростком) мама расплакалась в очередную годовщину ее смерти: “Если бы тогда был гемодиализ, я бы спасла ее!” И вскоре резко, почти зло добавила безо всякой видимой связи: “Я презираю и не понимаю подобную слабость: нужно уметь преодолевать любые трудности”. Много позже я почти восстановила трагическую причину ранней гибели Теун по отдельным, случайно услышанным репликам и фразам. “Сделай же что-нибудь! Я больше никогда, никогда этого не повторю... У меня очень мерзнут ноги”. И мама грела ей ноги пуховым платком и растирала горячими руками, стараясь растопить смертельный холод, который заползал снизу. “Я его больше не слышу, оно остановилось”, — последнее, что сказала Теун.

Когда я повзрослела, мама достала из глубин нашего бездонного сундука маленький футлярчик из слоновой кости, — это был несессер, — ручки всех инструментов тоже были высечены из слоновой кости. Все это хранилось в черном ридикюле с выбитым одиноким цветком редкой красоты. “Это принадлежало твоей тете, а теперь твое”. Она извлекла из темных недр сумочки паспорт, пропуск с маленькой фотографией: на меня смотрело мое же лицо с не моими толстыми косами по плечам. Следующим был футляр с очками в старомодной оправе. Я их надела и вскрикнула от удивления: “Они же как раз для меня! Та же степень диоптрий!” Я знала, что все стены маленькой комнаты в общежитии МГУ были увешаны моими детскими фотографиями, первое слово, которое я произнесла, было имя Теун. А однажды, к ужасу моей мамы, ее сестра призналась с шокирующей прямолинейностью: “Ты же знаешь, как я тебя люблю. Но иногда я думаю: если бы с тобой что-нибудь случилось, Дина была бы моей”.

Я взяла общую тетрадь в коричневом переплете из искусственной кожи. Тетрадь была исписана мелким отчетливым почерком, который, казалось, кроме информативной, нес еще эстетическую функцию. Я полистала ее. В нее было заложено несколько писем — неотосланных, как я поняла позже. В самом конце тетради я обнаружила несколько стихов, написанных рукой Теун. И открыла тетрадь:

Для меня все началось, когда после моего возвращения из Москвы к нам пришел незнакомец с какой-то бумагой, на которой красовалась гербовая печать, и поздравил с реабилитацией погибшего отца. Я вспомнила тогда душный летний вечер, к нам постучали в дверь, — это был Жанхот. Мальчишеское лицо его было бледно, круглые стекла очков тревожно поблескивали. Они крепко обнялись с отцом и зашли на кухню. Мамы и сестры не было, поэтому пришлось накрывать на стол мне. Жанхот впервые не улыбался, а что-то быстро и очень тихо говорил отцу. “Они все арестованы... все шестеро. Похоже, их больше нет в живых... Теперь на очереди я”. Я сразу поняла, о ком речь. Я знала их всех: они собирались у отца по вечерам и говорили больше всего о том, какой должна быть эта книга, над которой они работали все вместе, — “Кабардинский фольклор”. Я помнила всех: Тута Борукаев, Таусултан Шеретлоков, Пишкан Шекихачев, Сосруко Кожяев, Михаил Талпа и сам Жанхот, самый молодой и веселый. Иногда заходил Адам Дымов, — они вместе с Нурби Баговым открыли первую типографию и выпускали в Баксане первую кабардинскую газету “Адыгэ Макъ”. Я помнила, как похудел, осунулся

отец, когда в 35-м году нелепо погиб Нурби, его учитель и друг, который уже много лет работал над этой книгой. Все они искали по селам оставшихся в живых сказителей и записывали их, регулярно выезжая в села, иногда — в самые далекие места республики. Собираясь у нас, они весело смеялись, шутили и спорили. Молодые, задорные... Я любила наблюдать за ними, забывая свои собственные дела. В эти минуты жизнь казалась мне праздничной и значительной. Вскоре отец принес новую книгу, еще пахнущую типографской краской; на твердой обложке было выведено тисненными буквами “Кабардинский фольклор”. Он был бледен, улыбался, а в глазах стояли слезы. Это был 1936 год.

...Отец протестующе поднял руку, будто защищаясь, но Жанхот перебил его: “Да-да, я знаю, на разговоры нет времени. Кроме того, меня не должны у тебя видеть. Его бумаги не могут у меня оставаться. Скоро должны прийти с обыском. Может быть, сразу же и заберут”. И он положил перед отцом какие-то бумаги. Они молча курили и даже не прикоснулись к еде. Жанхот вскоре ушел.

В ту ночь я не могла заснуть и слышала, как отец выходил курить на кухню, во двор, как глухо и напряженно звучали его шаги в темноте душной летней ночи. Раньше отец не спал ночами, если писал, но с того дня он перестал спать вообще, осунулся и похудел. Однако лицо его как-то особенно светилось, и если бы я не знала о его изнуряющей тревоге, можно было сказать, что от него исходит умиротворяющий свет. Самым невыносимым было молчание, которое повисало внезапно, в разгаре повседневной суеты, захлестывая нас мертвой пустотой, разъедавая несокрушимую, как казалось, цельность нашего семейного мира. Мы ждали недолго: Жанхота арестовали через две недели, а месяц спустя семья узнала о его гибели.

Я вспомнила и тот день, когда отец собрал оставленные Жанхотом бумаги, с угрюмым спокойствием положил их в старый портфель и, не сказав ни слова, вышел, забыв закрыть за собой дверь. Он вернулся поздно ночью оживленным, каким уже давно не был, и я услышала лишь два слова, брошенные им маме: “Готовь вещи”. Мама проплакала всю ночь, а наутро заковала себя в броню немоты. Отец много работал, по-прежнему почти не ел и не спал, постоянно курил, но не был подавлен, как перед арестом Жанхота.

После гибели Жанхота почти все визиты к нам прекратились, и дом погрузился в странное оцепенение, оживляемое только капризами младшего братишки Маги и нашими спорами. Вскоре отцу пришла повестка на фронт. Было невозможно представить его с винтовкой в руках: ведь он уходил из дома, когда резали кур и мама всегда обращалась с этой просьбой к соседям. Он не успокоился, пока не купил нам по мешку фасоли и муки. Я помню его теплые губы на своей щеке.

Эта запись была вклеена и предшествовала другим, сделанным ранее.

* * *

С фронта мы получили два письма, затем — молчание. У нас выбили окна, а на стекла нет денег. Мама раздобыла картон, промаслила его и вставила в раму. Всю зиму спали, не раздеваясь, и все-таки дрожали; спим по двое, тесно прижавшись друг к другу, так теплее. Мама попеременно ходит с нами на окраину за дровами, в лес, на Кизиловку. Луан колет дрова, а мама со мной или с Нальжан складывает дрова в сани. Мы чередуемся с сестрой, чтобы кому-то оставаться дома с маленьким Магой. На добывание дров уходит почти целый день, но мы даже двигаемся с трудом, куда уж тут работать! Всему виной страшная слабость от недоедания. Еды почти никогда не

бывает, и мы очень медленно жуем макуху (так требует Дат), чтобы заглушить голод. Правда, Мага сразу все съедает и снова кричит от голода. Мама прибегла к одной уловке, которую, похоже, разгадала только я, но никому о ней не сказала: перед сном она сообщает нам, что поставила варить похлебку. Все успокаиваются, но засыпают, не дождавшись. Они не знают, что мама кипятит пустую воду.

Пришел военком, к которому ходил отец перед фронтом. Он сухо сообщил нам, что отец попал в плен. Все, кто живым сдался в плен, — предатели, сказал он. С тех пор к нам перестали приходить даже родственники. Сама Дат запретила им. Она не изменилась, только неистовее и дольше стала молиться.

* * *

...Я любила наблюдать, как отец играл в шахматы. Он воспринимал игру всерьез, очень нервничал, а когда начинал проигрывать, то не выдерживал, неожиданно смешивал все фигуры и заявлял, как ребенок: “Начинаем сначала!”

Вспомнила другой случай, когда мама купила отцу дорогой отрез на костюм: “Не выдержала и взяла из денег, отложенных на питание: у тебя ни одного приличного костюма!” На следующий день к нам пришел Бетал Куашев с новыми стихами. Они сидели за столом, и отец просматривал стихи в большой папке.

— А где тот отрез, который ты купила Беталу? — сказал он матери.

Мама молча вынесла отрез и протянула его гостю: “Пусть господь дарует тебе вместе с ним здоровье и успех!”

* * *

Я закончила учебу в МГУ, вернулась домой. Чудесная неповторимая эпоха — позади. Я продолжаю жить и работать, свернувшись внутри себя под натиском непривычно низких потолков и тесных помещений. Но настоящая жизнь как будто где-то затаилась. Настоящей жизни нет, я слышу только слова: слова-назидания, слова-формулы, слова бытовой текучки, слова-лозунги. Чаще всего — слова-лозунги. Я теряюсь в них. Они так часто и произвольно повторяются, что их больше не слышишь и не понимаешь. Силу и смысл придает только мое чувство, расцветающее чувство.

Жизни нет, она прячется за неверными словами. Смысла нет, одни разговоры. Они не отражают того, что есть, в лучшем случае придают только бледную форму, а зачастую вообще уводят в сторону. Так называемое содержание остается субстанцией совершенно особенной, неозначенной, и слова к ней не имеют никакого отношения.

Иногда мне кажется, что от нашей оголтелой болтовни сбежали все молчаливые духи, населявшие сердце планеты. Мы навсегда спугнули их, и теперь, чтобы заполнить пустоту, мы ее безнадежно заполняем словами, за которыми ничего не стоит, какой-то бездушный мусор... Мы выворачиваем себя наизнанку, чтобы выявить, выяснить, определить. И кончается это, как правило, грустно, ибо мы целый мир заключаем в схему. А нужно было сначала учиться двум вещам: видеть и слушать.

* * *

Однажды вечером я решила. Мама стояла у плиты спиной ко мне: “Дат, ты помнишь те бумаги, которые принес Жанхот отцу перед арестом? Где они?” Я видела, как напряглась спина матери, но она ответила будничным тоном, не оборачиваясь: “Я не помню никаких бумаг”. — “Они должны были остаться, я хорошо помню, как их принес Жанхот, а после его гибели отец, не слушая тебя, поднялся к военкому, который тогда еще жил в нашем подъезде... А когда вернулся, я слышала, как он сказал тебе тем же вечером “собирай вещи”, и ему действительно вскоре пришла повестка на фронт”.

Мать не торопилась с ответом, она энергично размешивала пасту в чугушке.

— Наверное, отец увез их с собой на фронт.

— Мама, но это же неправда. Зачем они ему на фронте?

Она обернулась — лицо было бледнее, чем обычно. Потемневшие глаза — непроницаемы:

— Что ты от меня хочешь?

— Бумаги Жанхота Алоева, которые он передал отцу.

— Зачем они тебе вдруг понадобились?

— Мама, почему ты мне не доверяешь? Почему?

Она по-прежнему молчала, опустив глаза. Ее молчаливая непреклонность — то, что меня всегда так злит и восхищает.

Я уверена, эти бумаги многое объяснят: почему забрали и убили Жанхота, почему отец показал их военкому и вскоре получил повестку, хотя я хорошо помню — у него была бронь. Дат, это объяснило бы всю нашу жизнь, весь этот ужас, который мы пережили!

— Вряд ли тут помогут какие-то бумажки, детка, — произнесла мать устало.

— Где они?

— Я не знаю.

— Тогда скажи хотя бы, откуда эти бумаги?

— Их привез из Турции учитель и друг твоего отца, Нурби Багов. После того, как к власти пришли младотурки¹, отношение к адыгам там изменилось: им стали разрешать многое из того, что раньше было под запретом, в том числе посещать библиотеки и архивы. Нурби долго работал в архивах, успел кое-что переписать. Но позже, когда пришли кемалисты, архивы уничтожили, закрыли школы, запретили говорить на всех языках, кроме турецкого. Запретили даже играть на народных инструментах. После возвращения на родину Нурби стали преследовать как жившего за границей, и он вынужден был наглухо спрятать архивные материалы. Он передал их не отцу, которого бы сразу заподозрили, а самому младшему, почти мальчику, — Жанхоту. Это все.

Мать замолчала. Я поняла, что продолжать бессмысленно, но она внезапно заговорила:

— Тогда твой отец перестал есть и спать. Только курил и молчал, ночи напролет сидел за столом и вскоре стал походить на свою тень. Однажды он сказал: я пойду к нему, к Калмыкову². Я стала плакать, чтобы он этого не делал, ведь по распоряжению Калмыкова забрали Жанхота. По его же распоряжению должны были забрать твоего отца. “Я сам пойду”, — сказал отец.

¹ Младотурки — черкесская диаспора в Турции — результат насильственной депортации во время Кавказской войны 1817—1864 гг. Насчитывает, по приблизительным данным, до трех миллионов человек.

² Калмыков — первый секретарь обкома партии.

— Он не стал надевать свой лучший костюм, — продолжала мать, — оделся как обычно, буднично. Ничего не стал есть и молча вышел. Калмыков принял его без очереди, вышел навстречу и пожал руку. В кабинете твой отец сразу и сказал: “Я пришел спросить, что вы от меня хотите: за мной повсюду следят, как за преступником, ко мне приходят с предупреждением об обыске, как к преступнику. Я спросил одного из них, какие за мной грехи, кроме честного труда, но мне не ответили. Может быть, вы мне скажете?” Калмыков захохотал, а потом сказал очень серьезно: “Поверь, я горжусь, что среди нас, адыгов, есть такой человек и поэт, как ты. И пока я буду жив, никому не позволю причинить тебе зло. А помочь всегда рад. Приходи всегда, когда тебе нужно”. Твой отец не сомневался в правдивости того, что ему было сказано. Он был доверчив, как ребенок.

— Как же случилось, что главный подписал бумагу, чтобы посадили Жанхота? — спросила я.

— Я не поверила Калмыкову, потому что погибли почти все литераторы и писатели республики. Однако сказанное им все-таки оказалось правдой, и пока он был жив, твоего отца не трогали. Я думаю, потому, что для республики нужно было сохранить хотя бы одного настоящего поэта. И только после ареста и гибели самого Калмыкова нашли способ от отца избавиться.

— А бумаги?

— Бумаги лишь предлог для арестов. Отец говорил, этим свидетельствам и документам, которые насобирал Нурби, цены нет. И меня бы взяли, будь я грамотной и читай все это. Но Аллах оградил меня своей милостью: я не прочла ни строчки.

* * *

Изучая всемирную историю и историю государства Российского, я всегда мучилась вопросом: где же история моего, кабардинского народа? Я так и не задала этот вопрос своим профессорам, все думала, может, я чего-то не понимаю? Но потом решила про себя, что это просто слишком маленький народ, история которого не так значительна, чтобы попасть в учебники. Прочтя “Герой нашего времени”, я влюбилась в Бэлу. Как я хотела походить на нее! Каково же было мое изумление, когда позже я узнала, что нынешние адыгейцы, кабардинцы и черкесы — это единый народ, это и есть черкесы с

самоназванием адыги, что кабардинцы — это восточное племя одного из двенадцати черкесских племен. Я почувствовала себя гадким утенком, превратившимся в лебедя.

Еще вчера я не знала, что всех нас с головой погрузили в вакуум, и мы стали людьми без прошлого и будущего, какой-то неопределенной маленькой нацией, у которой остался лишь уклад, но не культура, так как культура предполагает преемственность истории. Но у нас отнято и это. Народ уничтожили, а горстку чудом уцелевших лишили исторической памяти. Нас лишили наших собственных мыслей и чувств, мы что-то за кем-то повторяем, и вот таких-то послушных любят и тиражируют. Того, кто не вписывается в эти рамки, уничтожают или создают условия для самоуничтожения.

* * *

Как еще вчера я была глупа, думая, что сегодня война закончилась. Она продолжается. Война, как оборотень, и сейчас являет свои бесчисленные лики: злоба, насилие, ложь, алчность, равнодушие, зависть, — так мы убиваем друг друга, добиваем сами себя. Война мимикрирует, ее воплощения бесчисленны, но все они служат лишь одному — смерти.

Однако война может лишь уничтожить, но не покорить. Покорить можно только сердце, и только — любовью.

* * *

Во все времена нас объявляют дикарями, которых следует цивилизовать, националистами, которых надо усмирить, “бандитами и головорезами”, которых остается только истребить, чтобы оправдать элементарную примитивную колонизацию — для овладения землями, морями, торговыми мировыми магистралями, нефтью, лесом, золотом и другими ископаемыми. Затем, уничтожив народ, “забывают” вписать этот факт в историю, а после нарождения нескольких новых беспамятных поколений объявляют интернационализм. И это сошло! По крайней мере, сходит!

* * *

Меня всегда раздражали отсылки к достойным образцам для подражания, так как я всегда отказывалась подражать кому бы то ни было. Я ни на кого не хотела походить, а когда повзрослела, не желала, чтобы кто-то из возможных детей был моей копией. Сходство близнецов никогда меня не умиляло. Я вообще не любила прямое сходство. Теперь я понимаю, в любой шкале ценностей для меня началом и концом была индивидуальность — чужая и собственная. Только она пробуждала во мне заветную полноту чувств и будила неясную тоску, похожую на влюбленность. Когда я невольно начинала отслеживать истоки этого чуда, называемого “яркая личность”, для меня оживал и становился насущным интерес к семье, роду, национальности. Последняя представляла для меня интерес сугубо художественный: некая природная лаборатория, где — при столкновении и взаимодействии неведомых сил — к жизни пробуждаются уникальные феномены человеческого филогенеза. Национальности — это отдельные кладовые, — гетевские праматери, которые ведут тайную непрерывную работу по своим собственным законам, являя свету неповторимые образцы людей и культур.

* * *

В Австрии, недалеко от озера Нойзильдерзей, каждый год вырастают дикие гиацинты и лилии. Нигде в мире и даже в Европе их больше нет. А здесь им дает жизнь этот особый,

уникальный состав почвы, климат и атмосфера. В искусственных условиях они не выжидают, поэтому их тщательно охраняют, а нарушителей штрафуют за каждый цветок. Почему не возведут в закон такое же отношение к каждому народу и к каждому из народа? Как видно, в нашу эпоху растения важнее.

* * *

Во мне что-то набирается и растет, невесть откуда это берется, будто я концентрирую в себе всю солнечную энергию, и начинает неумолчно звучать тоненькая нота, как предчувствие симфонии. Она бьется незримыми образами, словами, разноцветным хаосом нерожденного нового смысла. А я себя сдерживаю: нет, это только молодое вино, еще не время. Оно во мне томится и бродит. Потом приходит мой час — я всегда узнаю его по короткой вспышке света, когда предметы не меняются, но становятся прозрачными и соединяются тонкими светящимися нитями особого смысла. Во мне разливается упоительная тяжесть, похожая на живое бремя беременности, и тогда я выкладываюсь, рассыпаюсь — в пыль. Не знаю, прочитаешь ли ты когда-нибудь эти строки, сможешь ли ты меня когда-то понять, моя девочка, моя Дина... Но мне кажется, что мы обязательно встретимся — это и будет мигом нашей свободы.

* * *

Меня снова охватило появившееся состояние закодированности, движения по невидимой очерченной оси, где каждый шаг заранее предreshен и не случаен и приближает к какому-то тайному смыслу, который мне предстоит постичь, увязав все звенья этого гигантского разомкнутого круга. Чем отчетливее я сознаю это, тем больше овладевает мной ощущение собственной цельности.

* * *

Вот оно, мое “путешествие к центру земли”, — я не скольжу, а стремительно проношусь по жутким концентрическим кругам дьявольской воронки, все ниже и ниже. Думаю, это и есть круги ада.

* * *

Почти все, с кем я общаюсь, нормальны, трафаретно нормальны (будто с них выводили статистическую норму, которой реально нет), но они пахнут мертвечиной. Один из немногих живых, может быть, самый живой. — М.С. Только ему я и смогла поведать о своем состоянии.

Это была последняя запись Теун.

Мусарби Сруков

По дороге я вспомнила свой первый визит к нему, тогда я едва переводила дыхание — у него была тетрадь с моими стихами. До этого раза два я бывала у него на лекциях, вольнослушателем. Одну из них он начал с прелестных никому не известных стихов, которые утром прочитал в газете и выучил по дороге. Студенты его рассказывали, что он мог пролонгировать это занятие на два академических часа с переменой в придачу и делал это так, что аудитория забывала, зачем пришла. Он экспромтом заменял любых преподавателей, начиная с лингвистов, кончая зарубежниками.

Оказавшись перед высокой дверью, я совершила над собой героическое усилие, чтобы не повернуть назад. И пожалела, что пришла, — он был почти пьян.

“Заходи, — он пристально поглядел на меня. — Подумать только, одно лицо! Если бы у Теун была дочь, вряд ли большее сходство было возможно... Впрочем, не совсем Теун: в тебе нет ее хрупкости... Теун, лет пять занималась плаванием... или бегом. Так ведь?” Я кивнула: надо же, прямо в яблочко. Он был горд от собственной проницательности. “Мы учились с ней в МГУ на одном курсе и были друзьями”.

В просторной, по-холостяцки неряшливой комнате он усадил меня за стол, сам сел напротив и молчал довольно долго. Пауза стала тяготить, и я приготовилась припомнить какое-то забытое дело, когда он спросил: “Чаю хочешь?” Я согласилась. Он принес два остывших стакана. Мы молча выпили. Мне все казалось, что он вот-вот уснет. Тут он вспомнил о моей рукописи и принес ее. “Тебе нравится заниматься этим?” — спросил он меня, глядя прямо в глаза, и, не дожидаясь, сам же ответил: “Нравится”.

— Откуда вы знаете?

— Я увидел это здесь.— Он полистал страницы и куда-то ткнул пальцем. — Не здесь, и не здесь. Но здесь — возможно. — Он неопределенно покрутил рукой: — Что ж, жаль.

— Жаль чего?

— Жаль, что тебе это нравится... Не обижайся, ты же видишь... Я порой бываю не в форме. Извини.

Я сказала, что пойду, но он запротестовал и заявил, что хочет со мной поближе познакомиться. Не спрашивая, он закурил, и вскоре мы оказались в эпицентре едкого дыма от дешевых сигарет. Он пустился в воспоминания, и я поняла причину его успеха: он был прекрасным импровизатором (плюс феноменальная память и хорошее литературное чутье). Периодически он воспарял в патетических порывах, — была в нем такая старорежимная черта. Но она его не портила. Его монолог касался забавных случаев университетской жизни. Мы плыли в сизом дыму. Он прекрасно видел, что я не верю его рассказам, но это ни на миг не поколебало актерского запала. Порой я, не сдерживаясь, хохотала до слез.

Внезапно он стал серьезен и без паузы — уже по моему поводу: “А теперь слушай: отговаривать тебя я не буду. Это сделают за меня обстоятельства. Может быть, маленький сюрприз в виде... ну, скажем, великой любви, которая обернется однажды мыльным пузырем. Это могут быть друзья — похитители творческого времени или любимый муж, или болезнь ребенка. А адыгский быт? Его одного хватит, чтобы утонуть с головой и не вспоминать о поэзии даже во сне. Но если ты выдюжишь и вступишь в серьезную игру, — станет интересно и даже хорошо... до некоторых пор... Тебя постепенно начнет сводить с ума наша ...интеллигенция. Большинство это скопище скорпионов, которые жалят других и себя оттого только, что их представление о собственной исключительности оказалось преувеличенным. Этот медленно накапливаемый яд... Меня по-настоящему поражали героические усилия в борьбе за директорское кресло в научных и околонаучных учреждениях, когда порой проигравшая оппозиция подвергалась административным и психологическим репрессиям, вплоть до увольнения. Другие питаются чужими невоплощенными идеями и мыслями, прочитывая неопубликованные рукописи своих коллег, чтобы рецензировать их, а потом уверенно выдают за свои. Их активная доброжелательность к донору совершенно сбивает с толку, так что последнему кажется,

что подобный казус с таким золотым человеком не более как совпадение. И он остается в этой томительной уверенности до следующей своей новой идеи, пока и ее не украдут.

Но есть и другие... Эти люди никогда не будут твоими врагами — только друзьями. Они тебя даже будут очень любить... весьма разнообразно, скажу я тебе! И только самые умные из них сделают так, что ты потихоньку, незаметно начнешь терять веру в себя. И начнется это с того дня, когда ты спросишь себя: “А действительно ли я та, за кого себя принимала?”

Он покрутил головой и залпом допил холодный чай. “Они начнут разбирать тебя по кирпичикам, пока не дойдут до основания. А потом однажды глянешь на себя в зеркало — нет тебя! Они будут пытаться найти твою иголку в яйце, а яйцо — в шкатулке, словом, то, что за семью печатями. С каким мучительным сладострастием исследуют они природу настоящего творчества! Но куда им! Пойди, догони ветер, или поймай руками шаровую молнию — убьет! Кончается тем, что они исследуют саму природу носителя таланта. Они проникают в него, узнают его силу, а главное — слабость, разрастаются медленно в теле раковой опухоли, разъедают его с неуклонным неслышным упорством ржавчины, съедают изнутри. В обычное время их не замечаешь: в общем они не интересны, и, не задумываясь над их сутью, чувствуешь только мелкое дно и особую силу — центростремительную, направленную всегда только вниз.

Я бы давно заскучала от его затянувшегося, не до конца ясного монолога, если бы не особая сила его фраз, благодаря которой я запомнила их почти все до одной: “Они очень любят великих мертвецов, в особенности поэтов. Они неистовее всех их превозносят и служат светлой памяти. И они же быстрее всех убивают все живое: у них повышенное чутье на все, что стремительно растет и развивается, — они тихо подкрадываются и незаметно душат, так как служат только памятникам. Ибо их единственная тайная страсть — некрофилия. Места их обитания напоминают кладбища... Знаешь, самая страшная жестокость — жестокость слабых, они вымещают в ней всю ярость своего застаревшего бессилия, начиная с детства, в течение которого их, как правило, все обижали. Но такие слишком хитры, осмотрительны и трусливы, чтобы играть против правил, — их никогда не уличишь. Именно они пришли к реальной власти в 37-м году и, востребованные, с тех пор размножились и утвердились. Это они убили твоего деда. Это они и через них были уничтожены самые талантливые...”

Неожиданно он провел рукой по моим волосам и тут же продолжил: “Их гораздо больше, чем кажется..., такая вот... интеллигенция. Это даже не завистники, которых много. Таких видно, как на ладони. Я же говорю о другом, скорее о тайной касте... духовных убийц... Изогранный дьявольский класс. Чем больше они хотят власти, тем больше в них показного самоуничтожения, и они всерьез заявляют, что на них висит тяжелый и ответственный долг. Самые умные из них рядятся в новые живые одежды последних течений и направлений, но даже здесь их отличает солидная тяжелая поступь вселенских роботов — убийц”.

Я почти крикнула: “Еще не поздно! Для вас — не поздно! Вы еще все сможете!” Он тряхнул массивной головой и снова провел мягкой рукой по моим волосам: “А ты не бойся! Не дай себя запугать! А теперь ступай. А то сейчас разреешься... Не выношу женских слез”.

* * *

Я позвонила. Высокая дверь загремела и отворилась. В проеме я увидела знакомую фигуру. Спустя десять лет, в нем обозначился отчетливый контраст между белой теперь, мелко вьющейся копной волос и смуглым лицом, казавшимся еще темнее.

Поздоровавшись с неприличной поспешностью, я сразу спросила: “Вы все знали?” Он смотрел на меня темными, все понимающими глазами и совсем не торопился с ответом, затем спокойно распорядился: “Ну-ка, зайди для начала”.

Мы вышли с ним на балкон, отделанный по старому образцу портиками, которые вызвали светлую ностальгическую тоску по претенциозным добротным фасадам 50—60-х годов; их наивная помпезность внушала незыблемое чувство спокойной надежности и легкого торжества. Портики были выкрашены в грязно-белый цвет, с изъеденными временем торцами. Воздух играл, будто отражался в омытом кристалле, и свежесть солнечного утреннего часа оставляла во мне ощущение новизны. Движение на дорогах было уже активным, улица искрилась яркой зеленью и солнечными бликами, еще не тронутая серой дымкой, которая к полудню замедляла и утяжеляла движение, наливая предметы ртутной тяжестью; дома, деревья, воздух утрачивали радужную искристость, будто невидимый серый язык незаметно слизывал с города краски и запахи и он стремительно менялся — старел.

Я отметила пастозность и нездоровую желтизну его лица. Но что-то в смелом очерке полных выразительных губ, глянцевого блеске азиатских глаз было созвучно бесшабашной непринужденности этого утра. Он грузно опирался на широкие перила балкона, повернув голову в сторону гор; их силуэт все еще резко и отчетливо проступал на горизонте широкого проспекта. “Выходит, ты уже все знаешь?” — как бы невзначай спросил он. Я кивнула, не глядя на него. “Не сомневался, что это случится”. Я знала, что после бессонной ночи выгляжу не лучшим образом, и со страхом ожидала разговора, в котором мои расшатанные нервы могли дать течь. “Ты знаешь, я — фаталист. Я думаю, что старая Черкесия была воплощенной утопией, которая не выдержала испытание временем, так как была слишком хороша. Если взять другой, почти философский аспект, — то выходит примерно то же, — она прошла свое высшее необходимое воплощение и закономерно сошла с исторической сцены. Помнишь высказывание Гегеля о том, что в череде последовательных ступеней развития высшая форма бога-духа воплощается в истории некоторых народов. Одним из них был назван черкесский. По Гегелю получается, что мы выполнили свою божественную миссию. Ты никогда не задумывалась над символикой главной вершины?” “О нет, только не это. Боюсь, уже не осталось места для определений”, — поспешно проговорила я, не боясь быть уличенной в отсутствии патриотизма. Он рассмеялся: “Я же не предлагаю тебе пополнить поднадоевшие литературные клише. Кстати, отсюда она и не видна... Но представь себе ее”. Он очертил подобие горного силуэта в воздухе и ткнул пальцем в предполагаемую середину: “Смотри! — сказал он с азартом. — Мы где-то на середине спуска с первой вершины”. Он заметил мой взгляд и, похоже, сразу оценил всю дозу моего скепсиса. “Тебе не нравятся мои аллегории?.. Но очень скоро мы окажемся между двумя вершинами”.

— И будет подъем на вторую?— спросила я из вежливости.

— Разумеется, но сначала будет пролог ко второй главе.

— И будет покорение второй вершины?

— И снова будет спуск... Но кто сказал, что Ошхамахо — единственная вершина? Она просто главная. Будут другие подъемы, вершины и спуски, — и так всегда”.

Он зашел в комнату и вскоре вернулся со стареньким биноклем. Долго настраивал его, напряженно всматриваясь вдаль. “Вот она, смотри!— воскликнул он взволнованно. — Ее можно увидеть только в такое утро”. Он передал мне бинокль. Я уставилась в мутное стекло, пытаюсь поймать фокус, и вздрогнула от неожиданности: над южной вершиной выступала тонкая белая струйка дыма. Странная и неподвижная, она казалась приклеенной к небу. Внизу тонкая и вытянутая, очень прямая, она затем утолщалась и вверху резко обрывалась, образуя плоский, цвета сажи венчик, вяло шевелящийся в воздухе и незаметно вращаемый ветром. Этот дым напоминал скорее одну из тех слабеющих струек, что поднимаются очень высоко тихим вечером над затухающим костром; и в то же время в нем угадывалась какая-то исключительная живость; форма его — зонтик, раскрытый над опрокинутым, разлохмаченным конусом, как у некоторых ядовитых грибов, — производила тягостное впечатление. Я оторвалась от бинокля и перевела взгляд на М.С. Его лицо медленно расцветало спокойным, откровенным ликованием. Мне стало не по себе, на миг я подумала, что он безумен. Мои вопросы утонули в омуте его торжественного молчания. Я уже созрела, чтобы ретироваться, как он потащил меня на кухню, где под истерический аккомпанемент капающего крана заставил съесть кусок холодной баранины с овощами.

“Я был учеником твоего деда”,— сказал он внезапно. Я уже привыкла к резким сменам тем наших бесед. “В этот период, — спокойно продолжил Мусарби Сруков, — Калмыков формировал первые спортивные команды. Мой отец служил при нем и рассказывал, как он увидел одну девчущку, которая помчалась за теленком. Он поразился скорости, с которой она его догоняла, и заехал к родителям: надо, мол, девочку записать в спортивный клуб. Родители толком не поняли, что за клуб такой, но отказать не посмели. Именно в этот период в Союзе писателей было объявлено конкурсное стихотворение, посвященное Беталу Калмыкову. По прошествии времени председатель обкома вызвал к себе твоего деда и спросил: “Товарищ Шаоцуков, почему вы не написали конкурсное стихотворение?” — “Потому что не в состоянии выразить величие нашего вождя”. — “Мы хотели вас выдвинуть депутатом, но теперь видим, что народ вам доверять не может. А потому мы невольно задаемся вопросом: можем ли мы держать на таком ответственном посту человека, который не пользуется доверием народа?” — “Думаю, что не можете”, — ответил твой дед и вышел.

В 1939 году нам объявили, что состоится собрание, посвященное врагам народа. Ими оказались люди, которых я всегда считал друзьями. Под впечатлением этой метаморфозы я написал стихи о “врагах” и отнес их твоему деду. Он прочитал их и вспыхнул: “Забери и сожги”. Я растерянно молчал. “Ты уверен, что они враги?” — спросил твой дед, но я молчал. “Ты должен знать предмет, о котором пишешь. И не просто знать, а становиться им, и проживать его жизнь”. Те, о которых я написал, вскоре были арестованы и расстреляны. Был расстрелян первый председатель республиканского Союза писателей, который тогда только образовался, он же — директор научно-исследовательского института, талантливый, молодой, веселый, его рассмешил важный вид одного из тех, кто его приехал арестовывать. Был расстрелян директор другого института, светлый человек и поэт, который восторженно и искренно писал о партии, всецело веря в нее... Расстреляли почти всех составителей нового кабардинского алфавита на основе русской орфографии. Был репрессирован и расстрелян молодой ученый, который перевел с русского на кабардинский учебник географии, и еще двое, что составили сборник кабардинских песен для детей, — они уже лежали в типографии, но так и не были изданы. Погибли все сотрудники кабардинской газеты “Социалистическая Кабарда”, не пожалели даже 23-летнего мальчишку — фотографа. Были расстреляны все составители “Кабардинского фольклора” вместе с добрейшим человеком и удивительным ученым Михаилом Талпой, который перевел с кабардинского на русский все прозаические тексты, написал блестящее

предисловие, развернутые вводные статьи ко всем разделам, дал подробнейшие научные комментарии и разработал словарь... Были сосланы и расстреляны почти все прогрессивные литераторы и журналисты. Был уничтожен цвет первой национальной интеллигенции. Из неполных 300 тысяч человек, проживавших в нашей республике, было репрессировано 55 тысяч. Те, что случайно миновали репрессий 37-го года, оказались в мясорубке 48—49-го годов. Так что мало кто уцелел из настоящих... Такая же судьба постигла балкарскую интеллигенцию, которая формировалась уже на чужбине, так как весь народ был депортирован”. Он помолчал и добавил: “Они все были аристократами духа... да, аристократами духа. Сломленные и срубленные под корень дерева аристократических родов. Зацементированный тысячелетиями уникальный дух и образ жизни черкесской элиты, беспрецедентный по отваге, мужеству и благородству: черкесская аристократия заслоняла собой народ в любых сражениях и всегда шла в авангарде. Теперь она навсегда исчезла”.

Внезапно он наклонился ко мне и громко зашептал, дыша в лицо дешевым спиртным перегаром: “Я вот что скажу тебе, детка: все может вернуться. История ничему не учит. Настоящая история скрыта и скрывается. Ее знают немногие, такие как мы, пьяницы... это она нас отравляет, не вино. Все повторяется с обреченной повторяемостью дьявольского промысла. Народ обезглавили, оставив одно неуправляемое тело. Оно, как гидра, размножается вегетативным путем. Правда, в тридцатых и сороковых нами управляла одна голова, страшная, ядовитая... Зато теперь отрастает множество голов, и скоро мы будем напоминать Бляго. Блэ, которое превратилось в бляго! (Змея, которая превратилась в дракона)”.

— Вы хорошо помните Теун? — спросила я.

В его лице что-то изменилось. Он долго молчал, будто хотел и не мог придать форму тому, что жило в нем.

— Она была застенчива, отирала углы в незнакомых домах, пока ее насильно не посадишь. И вместе с тем могла быть категоричной, даже резкой: в любой ситуации сказать все, что думает, встать и уйти. У нее был необыкновенный смех, детский, до слез. И необыкновенный голос, с глубоким, богатым тембром, который, кажется, резонировал с целым миром и со всей ее многообразной, удивительной душой. Иногда она заплетала свои косы так небрежно, второпях, с середины длины. Они не расплетались за счет необыкновенно живой пышности. И ресницы — пушистые, до бровей...

— Бабушкины, — обронила я.

— Однажды она со своей подругой Аишат решили заказать плиссированные юбки в дорогом московском ателье. У подруги не набралось нужной суммы. Тогда Теун отказалась от своего заказа, и еще извинилась, что у нее нет денег на две юбки. Мне Аишат рассказала об этом случае. Она жила на последнем пределе. Надрыва не было, был именно предел. Это пугало... Видишь ли, в мире реальности каждый находит лишь то, что ему созвучно. Для нее реальным было только справедливое, все остальное она отвергала. Это было ее органичным состоянием. Она заболела от самой банальной повседневной лжи, худела и таяла на глазах. Такая лакмусовая бумажка, которая выявляет любую фальшь или двусмысленность. Она впервые заставила меня глубоко задуматься над этим редким, почти исчезнувшим феноменом — нравственным законом. Каким образом он воплотился в этой худенькой высокой девочке с пышными косами и прекрасными близорукими глазами? Только богу известно. Но в ней напряженно жил дух выстраданного, наработанного веками категорического императива, негласного кодекса

чести, похожего на исчезнувший ныне старый адыгский уорк — хабза. И если те, в ком он еще оставался, смогли его как-то приспособить к убогой и страшной реальности, то она не смогла. Да и не пыталась... Помнишь Русалочку из сказки Андерсена, которая в обмен на возможность видеть возлюбленного принца потеряла голос и обрела ноги, которые при движении причиняли ей боль, будто она ступала по острым ножам? Знаешь, ведь она уничтожила все свои стихи.

Он снова надолго замолчал. Его полные темные губы складывались, чтобы что-то произнести, но он не решался. Внезапно М.С. громко сказал: “Ты должна это знать: как-то мы оказались втроем, — Лева, Мага и я. Выпили. Вспомнили о Теун. И тут я сболтнул... “Я сказал им о документах, которые она искала и из-за которых, — не найдя их — возможно, погибла... Никогда не забуду их лица в этот момент... Позже я узнал, что они потребовали их от своей матери... Но мать сказала, что не знает, куда они делись... Он встал и вышел из комнаты.

Когда он вернулся, я сказала, что знаю о том, что Левины выписки из архивных документов хранятся у него. На самом деле это были мои предположения, я просто сыграла ва-банк. Перед уходом он неохотно отдал их мне. Это был ворох зачитанных и полустершихся выписок.

Дома, разбирая эти страницы, я прочитала на одной из них:

...Будучи в 1932 году инспектором Районо, Шаоцуков высказывал антиколхозные настроения. Шаоцуков имел связи с участником ликвидированной в 1937 году контрреволюционной буржуазно-демократической организации — Алоевым Д.

Арест врагов народа в 1937 —38 гг. он рассматривал как уничтожение передовых слоев общества — молодежи. Выражая взгляды буржуазной интеллигенции, Шаоцуков в близком кругу высказывал в 1938 году антисоветские настроения, он заявлял: “Я уверен в том, что... если бы у нас существовала действительная свобода, .. можно было писать то, что хочется сердцу”.

“...Думают ли руководители Советской власти методом запугивания и беспощадного подавления всякой живой мысли сделать что-либо полезное для России”.

Шаоцуков открыто говорил: “Сейчас, после Октябрьской революции, несмотря на законы и конституцию, еще продолжают притеснения нашего народа”.

Другой обвиняемый Б. на допросе 20.6.43.г. показал: “Шаоцуков являлся непосредственным организатором и руководителем нашей организации...” Б. далее показал, что Шаоцуков и А. являются старыми буржуазными националистами бывшей группировки Калмыкова. Шаоцуков не ставил грани между Советским правительством и русским царским самодержавием.

По имеющимся данным в 1941 году, под Киевом с группой бойцов Шаоцуков попал в плен к немцам и, будучи в немецком плену, умер от истощения.

Зам. министра госбезопасности КБССР — подполковник Х.

Нина Ираклиевна

Небольшая, очень прямая и стройная, со спокойными черными глазами на бледном лице, Нина Ираклиевна казалась сошедшей с лент Абуладзе. “Просто удивительно, как вы меня нашли. Я ведь только проездом в Москве, на днях уезжаю... Да, я восстанавливаю архив мужа. Да, вы правы, у меня есть стихотворение вашего деда. Я привезла его, как и обещала вам. Кроме того, мне известны некоторые сведения, касающиеся его жизни, — негромко сказала она, опустив все дежурные фразы. Мой отец сидел в одном бараке с вашим дедом. Они подружились, и их обоих объявили коммунистами. Но моего отца спасла семейная фотография, на которой были они с мамой.

“Коммунисты так не фотографируются”, — заявил один авторитетный немецкий офицер. На самом деле, отец не был коммунистом. Он прекрасно пел. Однажды его пение услышал кто-то из офицерского состава. Он спел и попросил создать хор. Ему повезло: немцы согласились. Он сплотил прекрасный грузинский хор, обучив всех множеству грузинских песен, но исполняли они песни всех народов. В этот хор входили грузины, абхазцы, армяне, русские, евреи, азербайджанцы, украинцы, — все, кто мог и хотел петь. Словом, интернациональный хор. Первое время в него входил и ваш дедушка, кабардинец. Отец рассказывал, что он отказывался от баланды, очень обессилел и вскоре уже не мог петь. Но когда слушал хор, у него выступали слезы. Однажды он передал моему отцу стихотворение, написанное в лагере. Вот оно, — и Нина Ираклиевна передала мне конверт. “Господи, какая судьба.., — она посмотрела мне прямо в глаза и коснулась прохладными пальцами моей щеки. — Моему отцу повезло, его выкупили грузины — эмигранты из Франции. Такое практиковали в начале войны, — можно было выкупать не коммунистов. Так он попал во Францию, а после окончания войны вернулся на родину, в Сухум... Вы, наверное, знаете обстоятельства гибели вашего дедушки?” — тихо спросила она, глядя на меня сухими, темными глазами. Я знала, но попросила: “Расскажите то, что знаете вы”. — “Он умер от голода. И был похоронен вместе с другими военнопленными в соседнем лесу, неподалеку от концлагеря... Дай бог, детка, прожить вам то, что он не успел”.

Я знала ее историю. Она была грузинкой, женой крупного абхазского ученого. Ее сын, молодой талантливый физик, работал в московском космическом центре, приехал домой за день до начала грузино-абхазской войны, а за день до возвращения был убит шальной пулей. После гибели сына ее муж заболел и долго не мог работать. Оставлять свои рукописи и бумаги было небезопасно. Он собрал все самое ценное и поместил в центральный архив. Через неделю архив сгорел, из бумаг ничего не осталось. Полгода спустя муж Нины Ираклиевны умер от сердечного приступа.

Вернувшись на квартиру родственников, я осторожно вынула из конверта желтый лист бумаги. Он был потерт и в нескольких местах осыпался по краям. Но слова были видны почти отчетливо, и стремительные строчки напоминали почерк моей матери.

Вестник

Впрямь ли, вестник, ты за мною?

Не ошибся ли ты дверью?

В бытие влюблен земное,

Я в загробное не верю.

Так зачем же и на мне ты,

Спешно так и столь некстати,
Роковые ставишь меты
Госпожи своей печати?..
Дай пожить мне! Напоследок
Должен я еще за нашу
Долгожданную победу
Осушить с друзьями чашу.
Так отсрочь, арканщик, ловлю,
Не захлестывай петлею!
И трудами, и любовью
Слишком связан я с землею.

Молитва

Я вспомнила, как однажды в детстве проснулась от ночного кошмара, и бабушка прочитала надо мной молитву. Вскоре она продолжила ее горячо и почти беззвучно, и все-таки я смогла явственно различить странные слова, — они посвящались не детям, не семье, а народу: “Оставшуюся горстку народа моего, Аллах Великий, укрой и сохрани!” Я удивилась, но тотчас забыла ее и ни разу не вспомнила до этой минуты. Детский ночной кошмар стал реальностью. Удивления не было. Теперь только стало ясно, что я жила ожиданием этой правды, — чудовищной, но освобождающей от странного ощущения собственной незавершенности. Я была к ней готова ночными молитвами бабушки, обрывками недоговоренных фраз, песнями о махаджирах, от которых плакали старики, и невозполнимой пустотой в сердце, — как бы ни переполнялось оно, в нем оставалась зияющая пустота, которая жадно всасывала в себя впечатления окружающего мира и все-таки не исчезала, как больной булимией, которого никогда не оставляет чувство голода. “Ля-илляха-иллялях”, — шептала я, но кошмар не проходил. Я чувствовала гулкие удары и слушала, как в мое полое сердце медленно заползает боль, и когда она стала нестерпимой, потемнело в глазах, и я задохнулась. И тут из темных глубин моей памяти неожиданно всплыла молитва, которой бабушка втайне от всех обучала меня. Старые и новые слова ее выстраивались сами собой и казались солеными от слез. Никогда, кажется, я не говорила так долго на своем родном полузабытом языке: “Аллах Великий! Упокой души их, — тех, о ком я ничего не знала, ни одного звука имени их — родственников моих — погибших, и родственников этих родственников — погибших, друзей их — погибших, тысячи тысяч детей, стариков, женщин и мужчин безымянной плоти и крови моей, много раз истлевшей и возрожденной в новом обличье — моем, и тех, кто ныне на этой земле. Упокой их, заживо сожженных, нетленный дух которых вырвался из горящих ям и домов; заживо погребенных, за телами которых не стало видно морского дна тех, кто так и не увидел вождеденный чужой и проклятый берег. Оставшуюся горстку народа моего, — вспоминала я услышанные слова, — на земле своей укрой и сохрани. Миллионы и тысячи народа моего, рассеянного по всему пространству земли, укрой и сохрани! Дай ему память, силу и стремление воссоединиться на земле отцов. Не дай забыть Бога своего,

и народ свой, и язык свой, не дай сгинуть бесследно, растворившись в других народах, не дай остаться лишь в гортанном звуке, угасающем в веках, не дай кому-то сказать на детей твоих: “Они были, и теперь их нет”, не дай предать память о тысячах тысяч колен своих, которые отстояли себя в схватке со временем и вылетели из расколовшегося яйца тысячелетий с неповторимым ликом и великой душой! Сохрани крылья народу, умеющему летать!”

Я еще долго шептала в темноте, и когда уже не было слов и слез, боль прошла. Дыра в сердце тоже исчезла. Я поняла, что засыпаю, но уже твердо знала, что проснусь другой.

г. Нальчик